

A classical painting depicting a man in 18th-century attire, including a blue velvet coat with white embroidery and a white cravat. He stands next to a large, ornate desk with a golden frame. On the desk are various items: a quill pen, a small cup, a scroll, and a globe. In the background, a statue of a nude male figure stands on a pedestal, and a reclining female figure is visible. A dog is standing on the floor to the left of the man. The scene is set in a room with large columns and a view of a landscape through an opening in the wall.

Наталья Проталина

Повести галантных времен

ТАБАКЕРКА

18+

Наталья Проталина Табакерка. Повести галантных времен

<https://litres.ru/70055743>

SelfPub; 2026

Аннотация

Граф Алексей Васильевич Погожев - молод, хорош собой, приятен в общении. Он с легкостью покоряет женские сердца, даже сама Екатерина II благоволит ему. Погожев польщен благосклонностью императрицы, но сам он влюблен в молоденькую фрейлину Полетаеву. Только вместе им не быть, ибо граф женат.

Внезапно графиня умирает. Установлено, что она отравлена. И кого же как не графа подозревать в убийстве? Причина ясна: Погожев пожелал избавиться от супруги, чтобы сочетаться браком с другой. Императрица разгневана и удаляет его от Двора. И злопыхатели тут как тут. Алексея обвиняют в краже важных бумаг. Как следствие, арест, пытки и острог.

За бедами графа стоит коварный недоброжелатель. Но как понять, кто он и какую преследует цель, если на дворе восемнадцатый век и метода дедукции нет еще и в помине?

Впрочем, подруге императрицы Анне Степановне Протасовой и не такие загадки приходилось распутывать. Именно ей

государыня поручает разобраться в хитросплетении интриг и на этот раз.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Пасынок Фортуны	5
Глава первая. Превратности судьбы	5
Глава вторая. Ящичек Амура	46
Глава третья. Переломление несчастной воли судьбы	76
Глава четвертая. Печальная Венера	112
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Страдания Орфея	134
Глава первая. Капризы Полигимнии	134
Конец ознакомительного фрагмента.	146

Наталья Проталина

Табакерка. Повести

галантных времен

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Пасынок Фортуны

Глава первая. Превратности судьбы

Зима 1785 года

Граф Алексей Васильевич Погожев открыл глаза. Занавеси алькова были разведены по сторонам, и он уж знал, отчего проснулся в такую рань. Портьера на окне судорожно колотилась о раму от ледяного ветра, налетающего с Невы. Холодный серый предрассветный воздух властно врывается в комнату, заполняя собой все ее пространство. Алексей Васильичу было холодно. Он потянул на себя одеяло и тут же услышал сонное причмокивание. Нахмурился. И теперь почувствовал, как кто-то стискивает сорочку у него на груди. Да кто не видно, персону укрыта по самую маковку. Граф

силился припомнить, кто бы это мог быть, но хмельная голова затрещала от непосильной работы. Знал только, что уж точно не жена...

Посмотрел на руку, тянущуюся к его груди из-под одеяла. Вот перстень, что сиял на безымянном пальце, признал. Сам подарил его примадонне театра своего Степаниде Лапиной после премьеры «Земиры и Азона». Стало быть, Степанида. Он снова потащил на себя одеяло. Стешка высунулась из-под него как лиса из норы и, мурлыкнув, потянула к нему свое заспанное лицо.

– Поди лучше окошко прикрой, – нахмурился граф Алексей Васильевич, которому об эту пору нежностей не хотелось.

Примадонна капризно надулась. Но он стащил с нее одеяло и небрежно шлепнул по оголившейся плоти. Стешка послушно поднялась и, крадучись босыми ногами по студеному полу, отправилась выполнять графскую волю. Подойдя к окну, поежилась и выкрутила свою натуру так, чтоб представить ее в наивыгодном свете. Знала слабости его сиятельства. Но вместо того, чтобы поманить на ложе, граф велел ей идти прочь. Степанида чуть не топнула ногой с досады, да нешто с графом это пройдет? Вот со швейками, с куаферами, с хористочками и всякими травести топай себе на здоровье, все они ее топы очень сильно переживают и ходят потом шелковые, а граф другое дело.

– Сама знаешь за что, – незлобиво пояснил граф, – больно

громка и ретива...а после не можешь верхнюю ноту взять. Горло береги...

Припомнив давешний спектакль, Степанида потупилась... Ну не вытянула она опосля бурной ночи ноту «ми» верхней октавы! Ну так что ж? Всего то единый раз с ней таковая досадная случайность приключилась... Однако с графом препираться бесполезно. Вздохнула и поспешно собрала вещички.

Когда дверь за актрисой затворилась, он уютно свернулся калачиком. Думал, поспит себе вволю. Но лишь задремал, а потом словно торкнуло что-то. Вздогнул и на подушке приподнялся. Хмель ушел совсем и непокой на душе снова разыграл, хуже даже разыграл чем вчера вечером. Но тогда он его винцом притушил, а теперь что? Не хлебать же с утра горькую.

Мысли одна хуже другой лезли в голову. Он вспомнил, как вошел вчера на куртаг к императрице. Она разговаривала со светлейшим князем Потемкиным, но оторвала от одного взор, сразу, как только объявили о нем. Взгляд ее величества, направленный на графа Алексея Васильевича Погожева, статного красавца двадцати девяти лет от роду, был полон интересом и.... Еще что-то в нем читалось. То ли вызов, то ли надменная холодность. Впрочем, она улыбалась. Улыбалась, как могла улыбаться только она одна. И никак нельзя было знать в точности, что эта ее улыбка значит.

К ручке его допустили, но даже пустого не спросили.

Императрица Екатерина Алексеевна только кивнула (благо-
склонно ли?) и сложенным веером показала на собравших-
ся в зале придворных, мол, изволь граф с другими разгово-
ры говорить. Сама же обратилась вновь к своему Циклопу.
Тот проводил графа ехидным взглядом, что засветился в его
единственном глазу сразу при графском приближении к тро-
ну, но и слова не сказал, руку подал нехотя, но все же по-
дал. Никакой явной вины графа ни в чем не было, хотя, если
разобраться, то и неявной тоже.

Граф приподнялся на локте и сердито вмазал кулаком по
подушке. Да если даже и была какая где вина, то уж допре-
жде всего перед собой граф был виноват, но и тут даже не
он, а его переменчивая фортуна. Она вознесла его на самый
верх, она же оттуда и скинула. Не шутка была попасть в слу-
чай без протезирования самого Светлейшего, а также и ми-
нуя пробирную даму Протасову. Одному Григорию Орлову
удалось, да это было еще во времена оны. Тогда государы-
ня и государыней-то не была, а была обойденной вниманием
мужа великой княгиней, Бог весть, что было у нее впереди.

Теперь же все иное. Теперь есть Григорий Александрович
– морганатический супруг, как поговаривали, да еще и до-
ставитель молодых красавцев для царских утех. Он же Алек-
сей Васильевич, попал в альков минуя его строгий отбор и
все прочие инстанции, да вот долго там не задержался, по
капризу злодейки судьбы и к злорадству Потемкина, навер-
ное. Алексей Васильевич вовсе не был уверен, что Потем-

кин сильно злорадствовал и что он злорадствовал вообще — по той простой причине, что не был уверен, воспринимал ли его Потемкин достаточно серьезно, чтобы испытывать какие-либо чувства по поводу его возвышения или падения. Мелкопоместный дворянчик по рождению, Потемкин за последние лет десять столь возвысился, что уже не советником и другом императрицы себя мнит, а уж чуть ли и не самим императором. Что и говорить, вот с ним фортуна обошлась куда более милостиво — даже молоденькие красавцы фавориты не могут перейти ему дорогу, идет все вперед да вверх, хотя, конечно, тоже иногда спотыкается. Но вовсе не так как Погожев — на ровном месте, да еще так чтобы полететь лицом в грязь.

Грязь! Истинно грязь! А как еще можно назвать всю эту нелепую историю с Прасковьей Вертуновской. Жена! Да какая она ему жена?! И как только Екатерина Алексеевна могла подумать, что он, граф, пожелает связать судьбу со столь легкомысленной особой!

Тьфу! Добро бы княжна Полетаева, девка в соку, а по всем приметам еще девица. Краснеет от любого смелого слова и кокетничать-то не умеет, хотя собой так пригожа, что дух захватывает при одном взгляде. Недавно при дворе, а то бы уж и ее испортили, как Параську Вертуновскую, ну не поворачивается у него язык назвать свою благоверную графиней Погожевой. Зол был на нее, что расставила ловушку и зол на себя, что в нее так глупо влетел.

Как же это все случилось? Граф зажмурился, словно так можно было не пустить неприятные картины, что всплывали в памяти. Впрочем, что ж! Куда деться от тяжелой думы, коли сама лезет в голову? И хмельным не запьешь. А дума вела к такому выводу, что видать, так на роду написано.

И винить ли родителя, что верой и правдой служил царю Петру Третьему, когда надо было вовремя прозреть и пере-метнуться на сторону его куда более спорой супруги? Не видели Погожевых среди тех, кто возвел Екатерину Алексеевну на престол, зато всяк мог бы сказать, что оные, не щадя живота своего защищали интересы Петрова внука – государя. Его главенство было для них непреложно. Вот оттого не заслужили Погожевы при государыне Екатерине Алексеевне ни милостей, ни должностей, ни особых чинов. Дядька Михаил Погожев бездетно скончался в деревне, а отец Василий Федорович, на то время уже овдовевший, высочайшим повелением был отправлен на Урал на Горнощитский мраморный завод. В помощь, а более для надзора за Михаилом Колмогоровым – архитектурным помощником генерал-майора Якова Данненберга, что возглавил Екатеринбургскую экспедицию по изысканию камней.

На участь свою отец не сетовал, так как сидеть безвыездно в деревне, как сие было предписано молодой государыней, ему уже было не в мочь. К тому же, делом изыскательским он проникся основательно и, без преувеличения можно сказать, самозабвенно оным увлекся. Потом уже, куда не бросала его

судьба, Василий Федорович не оставлял своего увлечения. И на берегах Поморских, и в болотах чухонских собирал он камни — разглядывал, описывал и в какие-то особые коробки укладывал. За это за все и прослыл чудаком, да с этим прозвищем и умер.

После смерти отца Алексей Васильевич получил распоряжение вернуться в Петербург пред светлые очи. Что сие означало? Что Погожевы прощены или что сын за отца не отвечает? Кто же знает, что было на мысли у государыни.

Возвратясь в столицу, которую покидал еще в молодых ногах, Алексей подивился ее преображению. Хоть и юн был, а хорошо помнил он грязноватый город, где хорошо мощены были лишь Невский прешпект, да ближние к дворцу улицы. На тех же, что подале от глаза государева, при большой непогоде сапоги тонули в вязкой жиже, да к тому ж несло навозом, точно город был не город, а одна большая конюшня. Теперь Петербург оформился, словно подросшая девица, принарядился красивыми фасадами, зазолотился маковками церквей, да и мостовых настоящих поприбавилось. Стал Петров город уютным, что значит хорошая хозяйская рука!

Да не только это подивило его в Питере-городе. Балы, куртаги, красавицы, театры. Молодому провинциалу все это вмиг голову вскружило, да так, что и не остановишь. Он танцевал на всех балах, увлекался всеми хорошенькими дамами и девицами сразу, дрался на дуэлях, сорил деньгами и да-

же писал стихи. Благо, отец вовремя озаботился тем, чтобы в Екатеринбург выписать учителей, которые, среди прочего, обучили Алексея танцам, французскому языку и галантным манерам. Сии науки оказались, не в пример математике, куда как нужными и полезными. Молодой Погожев в них преуспел изрядно и потому в придворных кругах сразу утвердился как человек светский, ловкий и обаятельный. А его страсть до всяких затей и вовсе добавляла ему привлекательности. Но в интригах граф Погожев был не силен. На том и погорел.

Прасковья Вертуновская – записная кокетка и редкостная вертихвостка быстро его заприметила, а заприметив, стала обхаживать, да так смело и решительно, что граф сперва опешил. Отмахнуться от намеков дамы было не в правилах галантного века, да и что товарищи подумают? Прасковья всегда была желанной гостьей во всех постелях по причине большой опытности и умелости в любовных делах. Кроме прочего была у Прасковьи столь заманчивая и волнующая грудь, что молодому человеку страсть как хотелось испробовать ее тепло и негу на ощупь. Парасья знала свой козырь и платья шила такие, что ее выигрышное место было всегда как можно более открыто. Бывало, на балах он взгляду не мог оторвать от ее глубокого выреза, а то и танцевальные фигуры забывал.

Прасковья нежно смеялась. Округлости пружинисто вздрагивали. Одежда графу становилась тесна. Он краснел,

заикался и спешил отойти в сторону, дабы конфуза какого не случилось. Она же все это очень хорошо понимала и однажды, когда уж он был доведен до полного отчаяния оттого, что не решался сделать даме смелое предложение, пошла на абордаж сама. Да так ловко все это у нее получилось, как будто не она его атаковала, а он сам решился на приступ. Впрочем, тогда ему было не до раздумий. Молодая кровь выиграла и – вот они уже в ее постели очутились, и уж тут Прасковья все свое искусство проявила. Молодой граф, не сильно еще искушенный в любви, испытал такое, что и вовсе думать забыл аж на целый месяц.

Целый месяц продолжались их тайные (в которых, впрочем, ни одна живая душа не сомневалась) свидания. Они переглядывались на людях, и он краснел, а она опускала глаза и прикрывалась веером. Он писал ей стихи, она по-прежнему нежно смеялась и теперь еще томно вздыхала.

Но вот томные вздохи переросли в печальные, нежные взгляды в сердитые и порой негодующие. Она все чаще отбивалась от его ласк и вот, наконец, плача заявила, что лучше им расстаться оттого, что он ее не любит, а уж ей это сносить рядом с ним свершено невыносимо, и что если он ее не оставит, то она непременно уедет в деревню к родне, потому что силы ее уже на пределе – такого изнеможения от неразделенной любви она может и не выдержать.

– Но позвольте, Прасковья Ивановна, отчего вы так думаете, – промямлил граф, все еще с трудом соображая, – я

очень к вам чувства питаю особливые. Не то, что к иным дамам...

– Ах, оставьте. Это слышать совсем невозможно, – ответствовала Прасковья, уткнувшись лицом в платочек, – особливые чувства – это вовсе еще не любовь.

– Ну отчего ж вы так думаете, – поспешил опровергнуть граф, сам еще не понимая, что летит в ловушку, как мотылек на свет свечи, – мне совсем обратное кажется...

– Кажется, – разочарованно вздохнула Прасковья, подняв на него затуманенный взор, полный укоризны, которую ему было не в мочь выдержать.

– Да и не кажется вовсе. Пожалуй, я даже уверен, что это..., – он помедлил немного, но рубанул с плеча и произнес роковое слово, – любовь.

– Отчего ж вы молчали столько времени? – все с той же укоризной проговорила Прасковья, – Может, оттого что думали, что я не смогу стать вам верной подругой жизни?

Вопрос был поставлен более чем конкретно и Алексей, который было уже собрался отбить новый ее выпад легким маневром, неожиданно постиг смысл слов. Он встал истуканом и не решился теперь уже не в чем уверять красавицу. Как уверять – мигом к алтарю потащит, а он еще и в мыслях женитьбу не держал. Плохо ли на воле? Она, однако, сверлила его взглядом, отчего ему делалось не по себе. И взгляд еще цепкий такой – не увернешься. Что бы сказать? Что-то такое спасительное вертелось в голове. Вертелось, вертелось

и всплыло.

– Не посмею жениться я, Прасковья Ивановна, пока служу отечеству и государыне не сослужу, – сказал он бравурно.

Это был отцовский наказ. Отец вполне оценил милость Екатерины Алексеевны, которая Погожевым большого зла не сделала, хоть и могла бы, имея все основания. Оттого отец так и наставлял Алексея – служи государыне и постарайся проявить себя, ибо она добрая мать отечеству, а я по молодым летам того еще не понял, так ты, сын, уж восстанови доброе наше имя. В этот нелегкий час слова его вспомнились, чтобы вызволить Алексея из беды. Тут Параське парировать было нечем.

Однако она и не пыталась.

– Сие похвально, Алексей Васильевич, – кивнула она, благочинно сложив руки на коленях, – вы уж не думайте обо мне. Отечество и государыня должны заботить вас о первую голову.

Тут она нежно и согласно улыбнулась и, встав с креслица, дала понять, что уж теперь желает побыть одна.

Страх перед женитьбой его отпустил. Да тут заговорила жалость, да еще... Еще, пожалуй, нежелание потерять хорошую любовницу. Он подошел к Прасковье и ласково пообещал.

– Вот уж как смогу проявить себя перед государыней, так уж и...

Она посмотрела ему в глаза. Сначала недоверчиво смот-

рела, а потом что-то вроде в них увидала. Развеселилась, бросилась на шею, да давай его обнимать-целовать, а тут и тетка ее вошла Мавра Павловна Гречишкина, что жила при дворе и слыла подругой Марьи Саввишны Перекусихиной. Забранилась тетка, а Прасковья ей возьми, да и скажи, что они теперь вроде как сговорены. Тетка их сдержано поздравила и выговор сделала за нескромность, но после оттаяла. А как была посвящена во все обстоятельства, так и вовсе похвалила молодого графа за рвение, нельзя было не похвалить.

Вырвавшись в тот день от своей нареченной, Алексей Васильевич совершенно отчетливо сообразил, что собственной рукой затянул на своей шее крепчайший узел. Оставалась одна надежда – проявить себя ему в настоящее время негде, так как войны пока никакой не было, да вроде бы и не предвиделось. А уж если и будет таковая, то тут еще не известно, кто скорее его возьмет в мужа – Параська Вертуновская или пуля шальная, оно, если рассмотреть, так одно другого стоит.

Словом он не грустил и был по-прежнему мил и обходителен, а поскольку пелена с его глаз спала, то и зрение его словно бы улучшилось. Разглядел он, что множество других хорошеньких барышень при дворе есть и тут уж было начал даже некоторые авансы получать в виде мимолетных взглядов

и поигрываний веером, как вдруг увидел новым обострившимся зрением, что сама государыня на него взирает. Взирает и перстом манит. Было сие посередь куртага, где вся знать собралась. И теперь все взоры, не только ее величества, обратились к нему, да так пронзили, что он их всей своей кожей ощутил.

Оробел сначала. Но пошел. Ноги, однако ж, были точно ходули вставные. "Чего бы это, – так и крутилось в голове, – неужто Параськина тетка порадела, и государыня теперь прикажет ему жениться, не трудя себя подвигами. Известное дело, все царицы любят устраивать жизнь своих ближних девок, на то они царицы".

Приблизившись, уж и слова-то все позабыл. В руку, величественно протянутую носом неловко клюнул. Вышло глупо и еще так, словно не оценил он чести такой. Взор горящий поднял и, увидав прекрасные голубые глаза, ни дать ни взять тумпазы редкостные, как-то сразу воспрял, выправился и молодцевато приосанился. Она в ответ бровью повела и улыбнулась.

– Что, Алексей Васильевич, каков тебе Петров город показался, – спросила царица ласково.

– Прекрасней ничего не видел, – молвил он, не отрываясь от ее ясных очей, кои сразу почел восхитительными из восхитительных.

Она, казалось, и не замечала его смущения и неучтивого поведения. Напротив. Протянула руку, но теперь уж не для

поцелуя, а единственно, милость оказывая желанием опереться. Он же, поняв сие намерение, но, не вполне еще осознав свое счастье и отличие, совершенно дышать перестал, что произошло от полнейшего благоговения перед монаршей особой и перед той необыкновенной грацией и женственностью, с какой Екатерина Алексеевна, будучи уже в неюных летах, сошла со своих вершин к нему и оперлась на него доверчиво.

Вельможи, в тот вечер при дворе бывшие, все разом обернулись, оторвавшись от разговоров. Дамы смотрели теперь на него заискивающе, а юнцы иные и с открытой завистью. Сановники изучали физиономию молодого Погожева, вперившись в нее взорами, словно туча змей. Все уж поняли, одному ему не было ясно, государыня свой выбор сделала.

Дальше все покатилося быстро, словно картинки менялись в калейдоскопе. Он еще не успел опомниться от высочайшего внимания, как увидел возле себя фрейлину Шаргородскую – доверенное лицо императрицы. Она приказала ему следовать за ней, и он повиновался. Вдвоем они миновали целую анфиладу пышных комнат. Потом еще несколько комнат, убранство которых, это было хорошо видно даже его нетренированному взору, еще не было завершено – в иных стояли лесенки и громоздились глыбы мрамора, а по полу были разбросаны куски серпентинита, оникса, яшмы, белого агата, малахита и других камней. Он от отца знал, что Екатерининский, как, впрочем, и Зимний еще не совсем от-

делан и государыня постоянно шлет на Урал обозы за красивым узорчатым камнем. Поэтому и не удивлялся, и даже сделал вывод, что ведут его окольным непрямым путем. Догадка его быстро подтвердилась, потому что перед глазами вновь замелькали изящные меблированные гостиные. В одной из них – в голубой – Катя Шаргородская остановилась и велела ему обождать, а сама скрылась за высокой инкрустированной дверью.

Сердце забилося, ноги подкосились, потому что он вот только сейчас и начал понимать, что произошло в его судьбе. Он, Алексей Васильевич Погожев, сын опального Графа Погожева попал в случай. Да мог ли он такое даже предположить!

Опустившись на новенький шелковый диванчик с позолоченными подлокотниками, он невольно обхватил голову руками. Ему казалось, что она вот-вот треснет в каком-нибудь ненадежном месте. Треснет оттого, что не выдержит такого.... Такого... А, собственно, чего? Счастья? Везения? Напора страсти? Ого-го! Вот страсти-то он пока не чувствовал. Не попасть бы впросак. Раззадорить себя как-то бы. Вспомнить что ли Параську? Нет, о Параське думать не хотелось.

Как-то сама собой пришла на ум княжна Полетаева. До чего хороша девица! Персиковая кожа щек, атласные покатые плечи, а то, что ниже, пожалуй, еще куда завлекательнее, чем у Прасковьи. А глаза! Карие, а белки вокруг зрачков голубые. Какой-то камень напоминают. Яков Иванович Даннен-

берг ему такой показывал, когда, по просьбе отца, занимался с ним минералогией. Да разве их все упомнишь, камни эти? Вот если бы он видел тогда глаза Вареньки Полетаевой, то уж сразу непременно бы выучил и камень, а теперь...

Теперь воображение делало княжну все более осязаемой. Его мысленному взору представился Варенькин нос. Носик был прямой, но не большой, а как будто чуть вздернутый, словно не лишенный любопытства, но совсем чуть, ровно столько, чтобы открыть взору чувствительные ноздри, трепещущие от каждого слишком смелого слова ухажеров, что прилипали к ней, как только она показывалась на людях. Дальше были губы – пухлые волнующие, и щечки с ямочками и все это приводило Алексея Васильевича в полный восторг и томление... И вовремя.

Дверь распахнулась, и на пороге показалась Шаргородская. Она приветливо кивнула Алексею Васильевичу, и он понял, что надо подойти. Стремительно встал и приблизился. Шаргородская легонько подтолкнула его в комнату, а потом прикрыла за ним дверь.

В комнате царил полумрак, но контуры предметов было отчетливо видно. Свет многих свечей бил откуда-то с противоположной стороны. По стенам стояло множество разноразмерных различного назначения шкафов и шкафчиков, этажерок, и все они были заставлены и завалены книгами. На конторках белели стопки бумаги и стояли чернильницы. На круглом столике, покрытом бархатной скатертью, возвышал-

ся кофейник и красивая стеклянная банка, в которой угадывались зерна кофия. Здесь же была и фарфоровая мельничка с деревянной ручкой.

– Это для того, чтобы никого по утрам не будить, – пояснил ему мелодичный женский голос с легким акцентом. Странно, но акцент этот сейчас куда более ощущался, чем в большой зале среди множества народу. Может быть, потому что наедине с ним Екатерина не считала нужным говорить медленно и величественно, а произносила слова так, как произносила их в обычной жизни в беседах со своими близкими.

Но все-таки, услышав этот голос, он невольно поклонился и чуть было не закричал: «Матушка, как благодарить...», но вовремя опомнился. Подумал, что слово «матушка» теперь, наверное, не подойдет, и решил называть Екатерину государыней, а там уж как Бог судит.

– Да что ты там мешкаешь, Алексей Васильич? – без всякого раздражения сказала государыня, – Подойди!

Все же она была милостива к нему. Робости у Погожева поубавилось. Приблизился. Государыня сидела в креслах – на ней было простое домашнее платье с крупными пуговицами и чепец. На коленях лежала толстая книга. Ослепленный нахлынувшими чувствами, Алексей Васильевич поначалу плохо разглядел императрицу. Туман очи застилал. Теперь же лицезрел и диву давался – так она была свежа и приятна взору. Яркий свет от свечей вовсе не старил ее. Белый

кружевной чепец, брошенный на все еще пышные каштановые волосы, придавал особую нежность ее лицу, под легким голубым шелком свободного платья угадывались очертания крепкого тела. "Право слово, такие женщины не стареют, - подумал он, - да если и стареют, все одно не утрачивают того притягательного, что манит к ним нашего брата точно железо к магниту", показывал ему Данненберг такой фокус.

– Что ж ты стоишь, Алексей Васильевич, садись, – она указала ему на соседнее кресло. - Поговорим.

Он сел, не сводя с нее взора.

Она улыбнулась тепло.

– Думаешь, наверное, что за толстая такая книга у меня. Это я труды господина Монтескье читаю. Знаешь ли ты такого философа?

– Н-не имею чести.

– Прискорбно.

– Да я в философиях, государыня, не силен, но, коли ваше императорское величество повелит, так готов изучить.

– Похвально. Да, видишь ли, Алексей Васильевич, трудно философию изучать по повелению царскому, тут нужен особый философический склад в человеке, а коли его нет, так и наука не впрок. Хотя наука это полезная. А ты, граф, я давеча слышала, театром занимаешься.

– Истинно, государыня, – осмелел Погожев, ощутив под собой твердую почву, – как дяденька мой представился, так

имение его ко мне перешло, а с ним и крепостной театр, так я сейчас его в Петербург перевез и уж в доме своем расположил. Теперь же к премьере готовимся.

– Вот как! Какой же спектакль ставишь? – Заинтересовано спросила императрица.

Граф смутился.

– Да пьесу вашу, государыня, «Горебогатырь Косометович». Композитор Мартин Солер.

Екатерина засомневалась.

– Али правду говоришь? Отчего же эту пьесу?

Алексей вмиг вскочил с кресла и встал перед государыней на одно колено.

– Из уважения и любви к моей государыне, к моей царице!

Монаршая бровь поползла вверх. Екатерина отложила книгу и поднялась. Протянула к нему руку. Он жадно впился в нее губами.

– Любви, говоришь, Алексей Васильевич, ну так мы сейчас твою любовь испытаем.

Когда утром он проснулся, с ним рядом оказался только непоседливый солнечный зайчик. Он семенил по подушке государыни и так и норовил скакать все по кругу и по кругу. Приподнявшись, Алексей Васильич понял, что это ветка березы, которая растет под окном, играет с солнечным лучом. Шторы на окнах были уже раздвинуты, а на небе сия-

ло столь мощное и редкое для северных широт светило, что лишь удивления достойно. Однако удивления достойно было и многое еще.

Стрелка на часах, что стояли на каминной полке, едва доползла до четверти седьмого, а уже повсюду пахло кофеем, и мягкий, но повелительный и уверенный голос государыни звучал в той комнате, где она приняла его вчера. Голос этот перемежался иногда с каким-то мужским. Погожеву подумалось, что это вполне может быть Григорий Александрович. А если он, что тогда? Как повести себя коли войдет? Да войдет ли? А может это и не Потемкин вовсе, а кто другой. Истопник, например или министр с докладом. Да только неужели так рано поднялась царица для дел государственных. Право слово, это после такой ночи было, по меньшей мере, странно.

Уж как жарко пылала ее страсть, что и вспомнить, так сам загораешься. Да и он ей особенно роздыху не давал, доказывал свою любовь повсюду! "Неужто двужильная у нас государыня", - подумалось.

Однако, то ли от кофейного духу, то ли от неловкости ситуации – не дома же и не у Параськи, – спать ему тоже совсем расхотелось. Он встал и потянулся за платьем, которое уж приметил. И только успел камзол надеть, как тут и она вошла.

– Ты, Алексей Васильич, видно тоже ранняя пташка, – спросила любезно, но вместе величественно, – я смотрю, под-

нялся ни свет, ни заря.

— Да ведь и ты, государыня, — молвил он, подходя и становясь снова на одно колено, ища царской ручки.

Но ручку она не дала. Вместо этого взяла его за подбородок и легонько потянула к себе, отчего взгляд Погожева снизу вверх на нее устремился, как и положено подданному. Она же вперилась взором в его лицо. И вдруг показалось ему, что она не просто его личность изучает, а ищет в глазах что-то. И, тумпазные очи ее, сразу перестали быть очами великой государыни, а были теперь глазами обычной женщины, у которой и страхи свои, и беды, и напасти даже. Такая нежность им овладела, что вырвал он подбородок свой из государыниной десницы, взял десницу ту обеими руками и осыпал поцелуями. Тут она, видно, поняла, что показала свою слабость, и тотчас же рассмеялась, немного деланно, но все же весело.

— Полно тебе граф, полно, отпусти, — сказала капризно, хоть и видно было, что порыв его ей по нраву пришелся, — ну, будет тебе...

Но он все не отпускал, и тогда она уже суше предложила:

— Ты лучше Алексей Васильич со мной кофий испей, нынче не сама варила, а Катя.

Это Шаргородская, подумал и пошел за ней, как привязанный.

За кофе они болтали о всяком. И о том, что Катя давно уж взялась за нее и бранит, что кофий Екатерина Алексеевна варит слишком крепкий, вопреки запретам докторов. И

о том, что философ Вольтер прислал вот новое послание, а она, прежде чем ему ответить, желает хорошенько почитать Монтескье, уж так им увлеклась, и много своих мыслей имеет, и хочет их с Вольтером тем обсудить. И еще о театре, о собаках, лошадях, обо всем – и ни слова о прошедшей ночи.

– Ты теперь иди, Алексей Васильич, – сказала она по прошествии получаса, – мне надобно работать. После мы с тобой завтракать будем. Ты уж себе, я чай, занятие найдешь.

– Нельзя ли мне лошадь, государыня, – робко спросил он, желая раз уж такой выпал случай насладиться и надышаться этим ясным солнечным утром.

Она только плечиком пожала и махнула неопределенно. Погожев сообразил, что маху дал, к государыне ли такой вопрос! Пошел к дверям, оттуда обернулся для поклона и увидел, что она уже что-то пишет и его существования вовсе не замечает. Дверь прикрыл тихонечко, чтобы не помешать.

Коня ему удалось заполучить не без помощи тут же нарисовавшегося прямо у двери старого лакея государыни Шкурина. Пришпорив норовистого скакуна, Алексей Васильевич помчался галопом через сад, миновал ограду и вылетел в поля. Холодный утренний воздух ударил в его разгоряченную грудь, окатил влажной волной неразумную голову, где мысли никак не хотели прийти в порядок, и все крутились и вертелись, перебивая одна другую. То ему казалось, что сам По-

темкин вызовет его на дуэль, то думалось, что теперь Екатерина Алексеевна будет вот так же каждое утро приглашать его обсудить какие-нибудь философические вопросы, а может быть поручит и императорский театр.

Право, к театру у него более всего душа лежала, более даже чем к дуэлям, и уж куда более чем к философии. А ведь государыня говаривала, что наука философия полезная. Да ведь скучно. Да и жизненные вопросы не оставляют в голове места. Вот, например, как ему теперь вести себя с окружающими-то? Как быть с сановниками, с фрейлинами и прочими придворными, которые наверняка все теперь уж проведали и будут взирать на него вопросительно, а то и с подлейшим заискиванием? Кто его знает, может и просить еще о чем начнут, а он и понятия не имеет, как ответствовать даже. Ох, нелегкое положение! Одно хорошо, Параська теперь, наверняка уж, отвяжется и думать забудет ждать, когда он, граф Погожев, ради нее доблесть проявит. Нет, теперь вся его доблесть только государыне достанется, иначе нельзя.

Тут он вспомнил, что завтракать должен с государыней и повернул коня обратно и вот когда понял, что заехал далеко. Намного дальше, чем мог предположить. Чтобы вовремя быть при особе, следовало поспешить, и он стрелой летел к своему только что обретенному счастью, до конца даже и, не понимая, что это – счастье или тяжкий крест. Но все же летел и в ограду Екатерининского парка проскочил, когда еще большой суеты ни в парке, ни во дворе не видно бы-

ло. Неприученный вставать спозаранок, он не особенно чувствовал ток утреннего времени, и сказать теперь вряд ли бы смог, сколько его прошло с тех пор, как увидел он стрелки на четверти седьмого. Однако ж успев изучить придворную жизнь, понимал, что, коли народ не кишит на крылечке, то еще не тот час, чтобы спешить, и приказал жеребчику перейти с галопа на шаг.

Не желая показываться на глаза лишнему человеку, Погосев свернул в аллею и спешился. Теперь он медленно брел по дорожке, изобретая в голове любезные и умные фразы, которые могли бы потрафить премудрой державной даме, ведь ему вовсе не хотелось выглядеть полным неучем, не способным к философическим упражнениям.

Однако размышления его были прерваны. Конь вдруг отпрянул назад и всхрапнул. Алексей приструнил его, да тут и услышал жалобное повизгивание, идущее даже и не понятно откуда. Прислушавшись, определил, что сверху и тут, поглядев на старую кряжистую липу, завидел, что среди кроны что-то белеется. И это существо на птицу вроде не похоже, а похоже-то и вовсе на собаку. И собачонка эта скулит и плачет, а вниз спуститься не решается. И как забралась?!

Привязав коня к разлапистой ветке, Алексей вскочил сначала в седло, а потом уж встал на ноги и, подтянувшись о дальнюю ветку, протянул собачонке руку. Та дрожала, но к человеку пошла. Под ним что-то хрустнуло. Пришлось проявить большую ловкость чтобы не свалиться самому и не

сбросить на землю, и без того, несчастное существо. Большими усилиями, но и не без помощи самой левретки, а это именно была левретка, он уложил собаку себе на плечи и тут уж начал спускаться. Ему тотчас вспомнился недавний разговор с государыней о собаках – она видно их страсть как любила. Подумалось, не принести ли красавицу сию ей в подарок. Подумано – сделано.

Так он и вошел к императрице в покои – с дрожащей собачонкой на руках. Часы били половину девятого по утру. Шкурина у двери личных императрицы комнат не было и наблюдался некий всполох. Женские возбужденные голоса и ее – расстроенный – доносились из спальни.

Он туда войти не решился, робость обуяла. Подумал, не уйти ли совсем, может его здесь уже не ждут. Да тут левретка, егоза эдакая, отогревшись в его руках, тявкать изволила. Голоса в спальне сначала затихли, а потом охи и ахи посыпались точно горох на мостовую из проезжей телеги. После же вместе с теми охами и ахами показалось из спальни целое женское полчище и тут же начало марш-бросок в его сторону. Они все разом говорили, и он ничего разобрать не мог, а отчетливо слышал только ЕЕ голос, доносившийся из спальни, но она говорила по-немецки, а этот язык он знал плохо и потому понял лишь, что Екатерина Алексеевна подгоняет кого-то.

Но вот, наконец, она и сама показалась. В простом светлом утреннем платье с брильянтовой заколкой в пышно

взбитых волосах. Дамское полчище колыхнулось и раздвинулось, пропуская свою повелительницу. Левретка, лежавшая дотоле на руках сравнительно спокойно, тут приподнялась и даже попыталась встать на лапы.

Повелительница подошла и, словно не замечая Алексея, обратилась прямо к ней.

– Ай-ай-ай, Леди Дюшеса, ты ведешь себя нехорошо. Мы все волновались за тебя.

С этими словами она погладила Леди Дюшесу и тогда уж обратилась к нему.

– Где же ты нашел ее, граф Алексей Васильевич?

– Да с дерева снял.

– Что ж, эта глупышка имеет некую страсть к птичьим гнездам, – пояснила императрица с улыбкой, а бывшие в комнате дамы почли за должное похихикать над ее шуткой. Она же не отводила взора от левретки и все поглаживала ее, а та в ответ лизала руку хозяйки.

– Ну что ж, – сказала Екатерина, натешившись, – поставь ее граф. Марья Саввишна, отправь кого-нибудь сказать Шкурину, что все уж уладилось. Да вели покормить озорницу.

Алексей из всего понял лишь, что спас он царскую собачку, и подарка не получилось, а жаль. Да надо это хорошо усвоить и вдругорядь, если представится случай, принести государыне какого-нибудь породистого щеночка для утехи. При мысли сей он довольно улыбнулся, но тут вдруг поймал на себе недобрый взгляд той самой Марьи Саввишны, кото-

рая с поручением послала кого-то другого, а сама сверлила и буравила его своими подслеповатыми глазищами.

Взгляд этот Погожеву не понравился. Должно, Марья Саввишна раздумывала как к нему отнестись, к новоявленному. Остальные дамы, окружившие императрицу, чтобы докончить ее утренний туалет, тоже искоса на него поглядывали, но все же неприязни такой в них не чувствовалось, скорее уж интерес.

– А ты, матушка, – обратилась тут Марья Саввишна к государыне, – молодца-то как-никак одари за Дюшеску. Вон она как нас всполошила, шалая. Не он бы, так и горевать нам по ней по сей час.

– Какая ты разумница, Марья Саввишна! – весело сказала императрица, выбирая жемчуга, разложенные на бархатной подушке, поданной фрейлиной Нарышкиной, – Вот и правда!

Указав перстом на нитку бледно-розового жемчуга, она оторвала взор от украшений и кокетливо взглянула на Алексея Васильича, отчего вид Марьи Саввишны стал совсем унылым.

– Да не нужно мне ничего! – затряс головой Погожев, – Ннеужто я для своей государыни такую малость не сделаю за одно... за одно только ласковое слово?

Императрица звонко рассмеялась, но повела взглядом по сторонам, дала ему понять, что надо, дескать, быть поскрытнее, не стоит так откровенничать.

– Да вот и не так, – упрямо тянула Марья Саввишна, – знаем мы зарок-то твой, граф Алексей Васильевич.

Это какой еще зарок? – хотелось ему воскликнуть, – Да тут он сразу все и припомнил. Параська! Тетка ее Мавра Гречишкина – подруга Перекусихиной. Ох, что будет! Погожев остолбенел от неожиданно нахлынувших на него чувств – да и кто бы не остолбенел – из огня да в полыню.

Дальше все разыгралось, как клавир по нотам. Марья Саввишна преподобнейшим образом рассказала государыне про сговор графа с Прасковьей Вертуновской и про его, Погожева, обещание жениться только после того, как сослужит службу ее царскому величеству. Государыня нахмурилась и на него даже не смотрела.

– Да ведь я, – робко вставил Алексей, – и подвига то не совершил никакого, собачку снял, так чего тут...

Но его словно не слышали. Государыня велела позвать Прасковью и тетку ее. И те не замедлили явиться. Параська была разряжена в пух и прах и очи держала долу, как и положено молодой невесте. Тетка ее тут же весь сказ Марьи Саввишны подтвердила. Довольная Прасковья кивала и румянилась. Граф чувствовал себя щепкой, тонущей в бурном море. Однако надежду еще имел потом, наедине, рассказать государыне как все вышло. Выслушает, рассмеется своим серебристым смехом, да и забота долой.

Но случилось иначе. Императрица милостиво освободила его от зарока, повелела назначить свадьбу на будущей неделе

и сказала, что в приданое Прасковье даст из казны деревеньку. Затем она всех отпустила и распорядилась чтобы Катя Шаргородская приглашала просителей. С тем и направилась в малую аудиенц-залу.

Погожев хотел пасть на колени и упросить дать ему первому аудиенцию, да государыня мягко его отстранила и не велела занимать у нее времени, так как его дело теперь уж решено.

Потом была свадьба, отсылка от двора, деревня. Первую брачную ночь провел он со Степанидой Лапиной, которая давно уж его глазу была приятна, да прежде он ее берег, думал прима есть прима, это особенное дело и товар дорогой. Дядя Степаниде этой учителей из самой Италии вызывал, оттого что голос у нее редкостный по силе и тембру – таких и в императорском театре не сыщешь. Степанида не капризничала и барину отдалась с превеликим удовольствием, правду сказать, она уж давно глядя на него млела, да показать боялась, чтоб не прогневался. Ему же было хоть в петлю, только не в супружескую постель.

Наутро после свадьбы графиня Погожева сидела за завтраком смурная, с глазами, припухшими от слез, да ему все не было ее жаль. Сама виновата, почто привязала к себе, точно морским канатом, а то не знала, что насильно мила не будешь? Она ничего не ела, а он только злился из-за это-

го, потому что был уверен, что это она нарочно так – чтобы взрастить в нем чувство вины и тем самым вернуть обратно. Но он уж твердо знал, что обратного ходу нет. Оттого молодые тут же и разъехались. Он с театром в свою деревеньку, а она в свою.

Из деревни он собирался писать письма государыне, да как не пробовал, все как-то глупо получалось. О чем писать? Как окрутили его, сердешного, как пошел он за Прасковьей, словно бычок на веревочке, как глубоко государыня ошиблась, устроив их брак? Такое на высочайшее имя не пишут, а писать императрице как частное лицо – он таких прав и занять-то не успел. Плюнул и занялся тем, что было всего ему милее – театром, ну и заодно Степанидой.

Молодой граф обладал натурой энергичной и весьма оказался одарен всякими талантами. За несколько месяцев смог он так вышколить свою труппу, что соседи, съезжавшиеся к нему на представления, поверить не могли, что это точно крепостные обычные, а не какие-нибудь итальянские актеры спектакли представляют. Помимо прочего, дело конечно сделали неплохие капиталы, его предками нажитые. Они дали возможность Погожеву вызывать актерам хороших учителей танцев и пения. Театральных костюмеров и плотников он еще в Питере нанял преотменных, а уж в деревне потребовал, чтобы они и его крепостных подучили всяческим художествам.

Занятию своему он предавался с жаром и ничего для те-

атра не жалел. Сил ему было не занимать, времени тоже, от того и шло все как по маслу. Подводили лишь плохие дороги, да студеная зима, нагрывавшаяся как-то вдруг. И именно тогда, когда ждал он выписанного из Петербурга балетмейстера месье Робера Паскаля, который хоть и не слыл большой знаменитостью, но зато уж точно был балетмейстером, а не шорником, булочником или еще кем другим, выдающим себя за оного. Гарантии на то у него были от одного очень солидного лица.

В тот студеный ноябрь Алексей Васильич ежедневно гонял своих людей на проселочную дорогу высматривать, не едут ли, пока, наконец, не прослышал от вестового, что вот, мол, и колокольчик, а значит, пожаловал-таки гость дорогой. Тут уж и граф кинулся навстречу долгожданному мастеру. Однако судьба преподнесла ему сюрприз несколько иного рода. Из кареты выглянул насмерть замерзший, но очень бравый человек и, яростно жестикулируя, закричал на Алексея Васильевича, который от неожиданности даже не сразу нашелся что ответить.

Потом уже сидя в гостиной, где жарко топилась изразцовая печь и, потягивая из рюмочек тонкого богемского стекла, наливку, изготовленную старой нянькой Аксиной Спиридоновной по секретному столетнему рецепту, они долго смеялись над теми первыми минутами их знакомства. А знакомство было необычное, потому что путник тот был не кто иной, как возвращавшийся из Москвы в Петербург и сбив-

шийся с дороги граф де Сегюр, французский посол при императорском дворе.

Граф оказался наиприятнейшим собеседником, да еще героем. И года не прошло, как вернулся он из неведомой далекой Америки, где повидал такое, что рассказов ему хватило на всю ночь, да и на дальнейшие дни еще осталось. Морозы тем ноябрем нагрянули, когда еще земля и снегом-то не успела покрыться, так Алексей Васильич принялся уговаривать графа пожить немного в его имении, пока не спадут пронизывающие сухие холода и не установится санный путь. Куда как невесело ехать по раскисшей под дождями и разом замерзшей дороге.

Граф, впрочем, дал себя уговорить довольно быстро, хотя, может и не последнюю роль в этом сыграло появление в гостинной прекрасной Степаниды, потихоньку утвердившейся в доме в роли хозяйки.

Веки Степаниды тревожно вздрогнули, когда граф Сегюр встал при ее появлении и назвал ее госпожой Погожевой. Однако Алексей Васильевич поспешил развеять его заблуждения, сказав, что она все же не жена, а прима его театра, но тут же добавил, что для него с некоторых пор второе куда более свято, чем первое.

Граф Сегюр при сих словах постарался сохранить невозмутимость, но вот театром заинтересовался, и тотчас к его удовольствию было организовано представление «Мельника», которым он безмерно восторгался, но более всех конеч-

но Степанидой, которой прочил большое будущее на подмостках.

Так прошло несколько дней. С утра и до сумерек Сегюр рассказывал о диковинках Мексики и Перу, вечерами играли спектакли и каждый раз иной, а ночами прекрасная Степанида делила постель то с одним воздыхателем, то с другим. Через неделю примерно выпал снежок и потеплело. Граф Сегюр распрощался с Алексей Васильичем, и вот тут Погожев и загрустил о развеселой столичной жизни и, что скрывать, об умных и тонких собеседниках, коих в деревне взять неоткуда. Так загрустил, что забыл ждать нового балетмейстера, а он как раз по свежему санному пути и нагрянул.

Месье Паскаль оказался довольным жизнью цветущим господином лет сорока. Алексей Васильичу он показался несколько более плечистым, чем следовало бы быть служителю Терпсихоры. На минуту он даже усомнился в его рекомендациях, но как только француз взялся за дело, сомнения Погожева быстро улетучились. Месье Паскаль живо поставил всю балетную труппу к станкам и потребовал сделать упражнения, после чего каждому артисту дал его цену, с которой Погожев внутренне согласился.

Более всех месье Паскаль отличил еще совсем молоденькую балерину Маланью Неволину – дочку театральной швеи. С ней он долго возился и в конце концов сказал, что эта девочка клад и из нее выйдет большая артистка, чем порадовал сердце графа, который считал балет слабой частью сво-

его театра. Высокая оценка француза заставила графа очень внимательно присмотреться к Малаше, и он сделал вывод, что она оч-чень даже мила, а уж ножки...

Теперь с новой силой закипела работа. Готовились к Рождеству, и спектакль ставили на библейский сюжет. Сам граф написал нехитрую пьесу, а капельмейстер Фридрих Штальбаум, нанятый в Питере, подобрал к нему музыку. Выходило превосходно. Репетиции, подбор декораций и костюмов отбирали у Погожева все время целиком, так, что граф забывал порой поесть, спал часа по три, иногда не раздеваясь. Что уж говорить о деловых бумагах, касавшихся управления имением и прочей писанине вроде писем, отчетов управляющего и губернских газет, что грудилась у него на столе. Все это он оставил до после премьеры.

И вот она грянула. Успех превзошел все ожидания. Овации энских помещиков не смолкали так долго, что актеры уж устали кланяться. Больше всего внимания перепало, конечно же Степаниде Лапиной, имевшей сценическую фамилию Алмазова, что представляла саму Пресвятую Деву Марию. Но в этот день свою славу она неожиданно поделила с молодой примой-балериной Невוליной, которой было дано прозвание Хризолитова – она играла Ангела. Роль свою балерина и правда исполнила безупречно и заслужила не только аплодисменты, но и поцелуй барина прямо за кулисами и аж на глазах у самой Степаниды. Балерина скромно потупилась и убежала. Граф, посмотрев ей вслед, поцеловал кончи-

ки пальцев. Степанида набычилась. Запахло грозой.

Однако увенчанный славой первейшего мецената округа Погожев ничего не видел, и видеть не хотел. Он кружился на балах, коих на Рождество давалось множество, ухаживал за барышнями, казалось, совсем позабыв о своем женатом положении, устраивал каждую неделю новый спектакль – словом, наслаждался жизнью, даже и не подпуская к себе никакие тревожные мысли.

Тревога забила к нему в висок, когда он, по окончании Святков, уселся за свой рабочий стол и узрел все множество непрочитанной корреспонденции. Сначала его обуяла тоска. Потом он, пошевелив руками грудку бумаг, решил подойти к делу методически и отобрать важное и нужное от второстепенного, а там уж кое-что посмотреть, а кое-что может так и оставить без внимания. Как, например, письма постылой Прасковьи, которых собралась уж целая стопа, и последние, между прочим, писаны из Петербурга, вот она, ее лживая покорность монаршей воле.

С легким сердцем он принялся сортировать почту и тут глазам своим не поверил – перед ним на столе лежал конверт с печатью личной ее величества канцелярии. Он тупо смотрел на конверт. Письмо было датировано вторым декабря. Стало быть, дошло оно не позже середины месяца, а уж если фельдъегерской почтой, то и, пожалуй, числа десятого. Более месяца назад! Дрожащими руками граф разорвал конверт и уставился на четкий ясный почерк. Перед взором все

плыло, глаза пробежали по буквам и словам, не улавливая никакого смысла, и только подпись в конце заставила его, наконец, собраться и начать соображать.

Письмо, написанное личным секретарем государыни Безбородко, было довольно лаконичным и, в сущности, никаких особенных сведений не содержало кроме изъяснения монаршей воли на Святки, и лучше всего в самый Новый Год видеть представление театра графа Погожева. В Петербурге, разумеется, а не в сельце Погожем, где провел граф все то время, которое полагалось ему провести возле его государыни.

Какими словами описать чувства Алексея Васильевича, который ясно осознал, что профукал единственный шанс исправить положение! Нет, и не может быть таких слов. Сначала у него земля ушла из-под ног. Потом он судорожно начал собираться — звать слуг, бросать в дорожные сундуки что попало, но вдруг остановился посередь комнаты. Мысль о том, что теперь у него уж нет ни малейшей возможности быть принятым и объясниться обожгла его мозг. Он словно в полудреме доковылял до кресла и, обхватив голову руками, предался полнейшему и совершеннейшему отчаянию.

Из ступора его вывел поморский косторез Федот Проскурин, что жил у Погожевых еще при батюшке Алексея Васильевича. Василий Федорович одному ему доверял надзор за своей коллекцией камней, с которой носился как с малым дитем.

Помор мялся у дверей, в который уж раз повторял «барин» да «барин», когда Погожев наконец поднял голову и узрел его.

– Тебе чего? – спросил он, сильно удивленный тем, что у людей его еще возникают какие-то вопросы, а то может и жалобы, это после такого-то!

– Да я чего хотел спросить-то. Дворовые говорят, ваше сиятельство в Питер собираетесь, так я уж узнать, будете ли брать коробки-то батюшки вашего, али нет. Мне ведь каждый камень завернуть требуется, иначе нельзя, они камни-то...

– Да ты что! – возопил вдруг Погожев, потрясенный тем, что перед такой бедой помор нисколько не склонился, но остановил себя, сообразив, что уж кому-кому, а этому косторезу вряд ли что о масштабах его бедствия известно. – Поди себе, – сказал уже спокойнее и откинулся на спинку кресла.

Однако что-то его сдвинуло с мертвой точки. Может быть, как раз это спокойствие Федота Проскурина. Есть ли от чего так с ума прыгивать? Не явился по первому зову – плохо, а кто знает, когда письмо пришло. Коли бы государыня очень хотела его видеть, то прислала бы своего человека, а тут всего лишь письмо. Письмо могло в дороге затеряться. А что в Питер не едет граф Погожев, так и на это причина есть – не хочет он ехать в дом, где поселилась нелюбезная ему жена. И писем ее читать не хочет. Однако государыню зреть он страстно желает, а так как письмо все-таки нашлось, ему,

и вправду след ехать в Питер.

– Эй, Федот, – воскликнул тут граф, вскакивая с кресел.

– Тут я, ваше сиятельство, – в дверь просунулась борода-
тая физиономия.

– Собирай давай свои экспонаты. Да завтра чтоб к утру
все было готово. Утром как рассветет, едем в столицу.

– Вот и понятно, барин. Теперь-то уж все ясно. А как ране
никто ни че толком сказать не мог, так и не знаешь, че делать,
– певуче затянул Федот.

– Погоди, – вдруг завернул его граф, – а что, в батюшки-
ной коллекции есть по-настоящему стоящие камни?

– О-о-о, барин! – Федот поднял на него умные ясные
глаза, морщинки на веках расправились. – Да неужели нет!
Один только смарагд какой – чистый, без единого пятныш-
ка, да и размером не мал. Этот, Василий Федорыч говорил,
самый дорогой, хотя имеем мы и диаманты неплохие, но
смарагд дороже. Он высочайшего соизволения просил его
купить и с трудом добился. Да еще есть тумпаз в розовый
отлив, называемый империял, но размеру небольшого. Есть
сапфиры наши, что цветом васильковые. Они не столь тем-
ные, как индийские, но игры в них не мене будет. А вот ин-
дийское чудо есть еще – так это желтый сапфир, названием
падпараджа – то редкий камушок и, говорят, на судьбы вли-
ятельный. Его батюшка ваш задорого взял, да еще в придачу
отдал смарагд поменьше, что на Урале нашел.

– Сам нашел? – усомнился Погожев, – не уж с земли под-

нял?

– А можно и так сказать, – огладил бородку Федот, – да допрежь, барин, чтобы земля чего отдала, ей многонько поклоняться надоть. То Василий Федорович хорошо знал...

– Ну дальше? – капризно спросил граф.

Федот невозмутимо продолжил.

– Есть красный турмалин, что цветом на рубин похож, да пламени не хватает чуток, есть редкостные волосатики – это кварцы такие – иные имянутся Волосы Венеры, а другие – Стрелы Амура. Да и много еще чего... Кремень, к примеру, семицветный – редкая штукавина, но это уж не самоцветный камень, а так, забава батюшки вашего, наука минералогия. У него там и гагаты, и яшмы и ониксы – чего-чего нет, но это все для научной его страсти камушки собраны были...

– Почему же отец мне раньше ничего такого не говорил?

– Может, интересу у вас не было, – рассудительно заметил помор и сызнава огладил бороду.

Погожев внимательно посмотрел на Федота. Не старый еще, но какой-то неторопливый, основательный. И честный. Или кажется таким? Живет при таких богатствах и до сей поры не сбежал, прихватив половину, а то и все. А ведь он свободный, не в крепости. Да полно, все ли он рассказал, может утаил чего-нибудь? А сам готовится к побегу. Зачем спросил, берет ли граф с собой коллекцию?

Мысли эти тревогой отразились на лице Погожева.

Федот молчал и топтался, будто не решаясь сам продол-

жить разговор, а уж у него имелось, о чем поговорить. А, была – не была!

– Мы как тот-то раз были в Питере, – выговорил он наконец, – так ваше сиятельство приказали мне ходить к мастеру тамошнему, что по ювелирной части, к господину Функу. Так нельзя ли будет сызнава мне к нему ходить, чтобы ремеслу обучиться?

– А ты, стало быть, хочешь?

– По нраву мне дело. И не внове. Кость-то я резать могу сызмальства. И на ум мне порой диковинки разные приходят, а вот как сделать, не знаю. Мне уж он показывал, как камень-то полировать, да как гранить еще не успел, а уж иное что я и сам додумался, да надо все же ловкости набраться.

– Экий ты, – подивился граф, – а какие же диковинки?

– А иной раз ларчики, гребенки резные с камнем, да с фигурками костяными. Да многое еще. Я в альбом заносу. Меня же, как Василий Федорович минералогии обучал, так и рисованию маленько научил.

– Смотри! Не знал. Ну ты мне свои диковинки после покажешь. А теперь собирайся. Будет тебе в Питере Функ. Дай только добраться.

Не прошло и недели, как граф Погожев был уже в столице. Актеры, декорации, машинерия – все тащилось обозами и, дай Бог, чтоб доехало в целости, сколь бы не ехало. Следом за ним, загоня лошадей, поспешали только Федот Проскурин с графской коллекцией, да ненаглядная Степанида, без

которой ему последнее время совсем плохо спалось. Ворвавшись в фамильный особняк, точно вихрь, он слегка кивнул выбежавшей ему навстречу Прасковье, словно не видел ее не полгода почти, а всего может час или два. Потом сменил дорожное платье на придворное и, не забыв захватить письмо, отправился к Безбородко, хотя и не очень верил в успех предприятия.

Однако звезды встали так, что статс-секретарь его принял и выслушал. Но – развел руками.

– Что ты хочешь, Алексей Васильевич, это видно рок тебя преследует. Не мне, обычному человеку, с ним тягаться. Но все же кажется, что дело это в твоих руках. Ты приди сегодня вечером на куртаг. Я знаю, гм... некое расположение к тебе нашей государыни, так уж будь уверен, за дверь не выставят, а уж там.... Ты уж сам....

И Погожев пришел, но.... Никогда еще и нигде он не чувствовал себя столь чужим и ненужным. Изгоем. Но все эти придворные рожи, что с них взять? А вот ОНА. ОНА даже словом не удостоила и отвернулась к своему Циклопу.

Глава вторая. Ящичек Амура

При дворе играли в коробочку. Игра, по меркам галантного века, самая невинная, но последствия от нее всякие бывали. Состояла она вот в чем: по кругу пускали простую деревянную шкатулку – не большую, но и не слишком маленькую, такую, чтоб помещались в нее десятки мелких вещей. Каждый, кому попадала в руки такая шкатулочка, должен был положить в нее какой-нибудь незатейливый предмет, но лишь такой, который был бы узнаваем. Если это была, к примеру, булавка, то с какой-нибудь особенной головкой, если платок, то с узором, если шелковый цветок, то именно тот самый, который был в прическе одним памятным вечером... И так далее.

Некоторые, однако, отправляли в коробочку и предметы подороже: непарные серьги (одна из них потерялась тогда, ты помнишь...), медальоны или даже колечки. Коробочка, кочуя от кавалера к кавалеру и от дамы к даме, вбирала в себя, таким образом, множество вещей. Но любой из участников игры мог также и забрать вещьцу своего любимого или своей любимой, если ее узнал. А взяв, тем же вечером или при ближайшем подвернувшемся случае, продемонстриро-

вать ее, прицепив на свою одежду или вынув из потайного кармана, беседуя на бале или на прогулке. Так влюбленный и не слишком смелый кавалер, а также и дама, могли открыть свое чувство предмету. За то коробочку и прозвали Ящичком Амура.

Вареньке, которая всего несколько месяцев назад стала фрейлиной императрицы, принес коробочку князь Комарицкий, которого маменька давно почитала ее женихом.

– Извольте, Варвара Дмитриевна, – проговорил он с поклоном и протянул ей коробочку на вытянутых руках, – Будучи рабом красоты вашей, я стал слугой этого пухлого малыша с колчаном и стрелами.

– Да о ком вы говорите? – Удивилась Варенька, плохо еще посвященная во все тонкости придворной жизни и боявшаяся, что может, не ровен час, чего-нибудь такое пропустила.

– Об Амуре. – убежденно ответил Комарицкий, – Это он бросается в нас вами своими стрелами, и сим воспламеняет наши чувства.

Варенька воспламенения своих чувств в присутствии Михаила Федоровича Комарицкого что-то не ощущала, однако, чтобы не обидеть его, тотчас улыбнулась, но ларец так и не взяла, подозревая в нем наличие подарка от князя, принять который означало бы принять и его ухаживания.

– Да что вы, Варвара Дмитриевна? – недоумевал князь, – Поди, Амур обидится, как увидит, что вы дичитесь его почты. Вот как найдет на вас большую страсть к самому Цик-

лопу. А он ведь не так галантен, как иные. Хотя Думаю, это он положил в шкатулку тот перстень с бриллиантом да с монограммами.

Тут Комарицкий рассмеялся и кинул взгляд в зеркало. А Варенька наконец поняла, что это и не подарок вовсе, а всего лишь тот Ящичек, о котором так часто болтают фрейлины, ожидая выхода императрицы. Ну-ну, очень интересно.

— Коли так, Михаил Федорович, то я шкатулку, конечно возьму. Но только оттого, что боюсь гнева сего маленького божка.

— Там до вашего внимания кое-что есть.

— Мне это странно, но я все же посмотрю.

— Ах, жестокая! Вам странно! Вы это нарочно меня мучите. Пойду пожалуйюсь Марье Саввишне. Поди заступится за меня.

С тем он раскланялся и ушел. Варенька неторопливо открыла крышку и пальчиком пошарила среди всевозможных безделушек. Драгоценный перстень светлейшего, явно предназначенный императрице, тут же бросился ей в глаза. Все остальные «подношения Амуру» были всего лишь жалкими побрякушками в сравнении с ним, но все же ей предстояло сделать выбор. Вне всякого сомнения, ей только что подсказали, что именно нужно взять. Брошь с камеей, которой Комарицкий часто прикалывал свое жабо, лежала поверх других вещей, и Варенька тотчас вспомнила ее. Но брать эту знакомую вещь ей не хотелось, как-то совсем не хотелось. Да

и отчего это Михаил Федорович так уверен, что стрела Амура попала в нее, и она спит и видит себя рядом с ним, князем Комарицким. Вовсе нет ничего подобного, и князя следовало бы проучить. Не возьмет она его брошь! Она решительно захлопнула шкатулку. Но потом вспомнила, что по правилам сама должна положить в нее хоть что-нибудь.

Тут Варенька задумалась. Положить вещьцу красивую и дорогую сердцу было жалко. Жалко опять же потому, что, когда шкатулка вновь попадет к Михаилу Федоровичу, он обязательно это возьмет, ведь он, будучи в доме Полетаевых почти своим, давно и хорошо знал все Варенькины серьги, броши, да и колечки. Тогда что ж? А вот что! Уж проучить, так проучить. Варенька пошла к себе и достала из кошелька гнутую полушку, лежавшую там столь давно, что она и не помнила, когда и как монетка там оказалась. Непонятно, по каким причинам Варенька ее хранила. Как-будто знала, что она может когда-нибудь пригодиться. Вот, видно и настал ее час.

Незлорадная Варенька с огромным удовольствием бросила полушку в Ящик Амура и с тем зашагала во фрейлинскую, чтобы передать эстафету подругам. Но на тот момент здесь были только две девицы. Они вяло перешептывались, иногда открывая маленькие искусной работы коробочки и, захватывая тонкими пальчиками крошечную щепотку табаку, изящным движением подносили оные толики к носам. Ни та, ни другая не проявили особого интереса ни к появлению княж-

ны Полетаевой, ни к ящичку Амура, что был у нее в руках.

Катерина Перекусихина – племянница Марьи Саввишны, хоть и была девицей крайне легкомысленной, весело чихнув, от шкатулки отмахнулась, сказав, что это всего лишь возможность одним поживиться за счет других и что тот, кто придумал эту игру, вор и все возьмет потом себе.

Варенька не стала ее ни в чем убеждать, тем более что сама сделала самый незначительный взнос, но предложила шкатулку княжне Трубецкой. Екатерина Сергеевна вроде бы даже взяла ее, открыла и воззрилась внутрь, но потом молча вернула Вареньке, сказав, что видит достойной для себя лишь ту вещь, о коей мечтать ей не приходится. С тем она опустила глаза. Варенька видела, как хищно блеснул взгляд Перекусихиной-младшей. При дворе ходили слухи, что княжну Трубецкую дарил вниманием сам Потемкин. Варенька тоже это знала и тотчас вспомнила про перстень с брильянтом. Не о нем ли говорила Екатерина Сергеевна?

Так она и стояла в растерянности посреди фрейлинской раздумывая, кому предложить эту злополучную шкатулку. Но вот одна из дверей отворилась и в комнату вошла камер-фрейлина Протасова. Оглядев девушек, которые тотчас повскакивали с мест и присели в реверансе, она указала перстом на Варвару и поманила ее к себе.

Варенька подошла, робея. Черная и усатая Протасова всегда внушала ей страх, хотя ни злой, ни ехидной ее нельзя было назвать. Нраву она была, пожалуй, даже приятного.

– Что это у тебя, Варвара Дмитриевна?

– Вот. – Варенька бесхитростно протянула Анне Степановне шкатулку.

– А, Посланец! – отмахнулась Протасова. – Одумайтесь, мадемуазель, мне уж он истинно ни к чему.

С тем Анна Степановна звонко расхохоталась. Потом проговорила:

– Ну тебя, Варвара Дмитриевна! Поди, посмеяться хотела надо мной?

– Да что вы, Анна Степановна! Разве я могла... разве... – лепетала Варенька.

– Да Бог с тобой! Чего стушевалась, княжна Варвара? Будет. Я вот тебе поручение дам. Поедешь проветришься. Коли хочешь, и домой заедешь. Поди давненько не видала маменьку?

– С прошлого четверга.

– Тогда ступай. Поручение будет – поехать к ювелиру Функу, что на Адмиралтейской. Знаешь ли?

Варвара кивком подтвердила.

– У государыни вот тут, – она показала Вареньке брошь в виде корзиночки с цветами, – вот, видишь, камушек выскочил. Да не нашли камушек-то. Так вели ему подобрать такой-же и вставить на место. Да побыстрее пусть сделает. Государыня желает надеть брошь-то.

Анна Степановна убрала украшение в коробочку красного дерева, отделанную перламутром, и вручила Варваре. Та

присела в реверансе.

— Ну, поди с Богом! — отпустила ее камер-юнгфера, — Да, ты сначала от посланца-то избавься. Долго держать его при себе примета плохая, а в комнате у себя и вовсе не храни — иначе в девках останешься, уж помяни мое слово.

С тем Протасова, которая под сорок лет находилась все еще в незамужнем состоянии, затворила за собой дверь. И там, за дверью, снова слышался ее звонкий переливчатый смех.

Повеление государыни, а Варвара не сомневалась, что всякие распоряжения во дворце, в конечном счете, делают именно государыней, следовало выполнить немедленно. Ведь было сказано «пусть сделает побыстрее». А это означало, что брошь как можно скорее надобно ювелиру доставить. Вот Варвара со всех ног и припустила. Экипаж для всяких фрейлинских, читай «матушки императрицы», надобностей, всегда был готов. В него Варвара и прыгнула, едва надев шубку. Шестерка откормленных породистых лошадей сразу рванула с места. У ювелира были, и глазом не успела моргнуть.

Дорогой Варенька осознала, что в руках у нее сразу две шкатулки — и та, что отдана Протасовой, и та, которую передал ей Комарицкий и другая, названная Анной Степановной «посланцем». Должно, лет двадцать назад тоже в такую игру играли, вон у камер-юнгферы о ней какие воспоминания

остались.

Может быть, Анне Степановне нравился тогда какой-нибудь кавалер, а он вот не ответил ей на чувства, и осталась она незамужней. Интересно, всегда ли у нее были такие усы или выросли с возрастом? Если первое, то шкатулка совсем ни причем, и замуж ее не взяли как раз из-за этих усов. Но вдруг все-таки из-за шкатулки? Куда же ее деть? Просто так не оставишь, вон там перстень какой драгоценный, еще возьмет кто-нибудь, кому он не предназначается, а ее, Варвару, обвинят в воровстве. Нет, надо все-таки как-то шкатулку эту сбыть с рук.

С таковой твердой решимостью она и вошла в ювелирное заведение господина Арнольда Функа. Узнав, что она из дворца и от самой императрицы, Функ принял ее лично. Старый ювелир слушал фрейлину внимательно, не сводя глаз с броши, которую Варенька держала двумя пальчиками, и все время шурился, отчего живо напомнил ей крота. Потом он аккуратно взял брошь и рассмотрел ее под лупой. Долго что-то измерял, шептал отрывочные немецкие фразы, тонкими, похожими на женские, пальцами гладил камни, осторожно стучал по ним ноготком, пробовал на зуб. Варенька смотрела на эти манипуляции с удивлением, пока новое лицо не отвлекло ее внимание.

Колокольчик у входа дзинькнул, и в распахнутую дверь вошли двое. Первого она узнала сразу. Граф Погожев. Красавец и выдумщик. Неужели он снова в Санкт-Петербурге?

Помнится, покинул он двор после такого происшествия, о котором шептались все и весьма долго. Варвара, как и весь Петербург подробности этого происшествия очень хорошо помнила, не так и давно все случилось. Странно было видеть теперь графа в Питере. Чему и приписать? Неужели так смел?

Граф, как глаза его привыкли к полутьме, тотчас ее увидел и, не замечая Функовых подмастерьев, которые немедленно вокруг него засуетились, поклонился ей, и Вареньке показалось, что он немного смущен. Может всякие встречи были для него нежелательны, вдруг был он в Петербурге тайно?

На всякий случай она дружелюбно улыбнулась, взглядом давая понять, что выдавать его приезд не собирается, но он почему-то истолковал ее улыбку, как приглашение к разговору и подошел. Варенька протянула ему руку, и он взял ее столь бережно и так горячо к ней припал, что некое подозрение мелькнуло у нее в душе. Но она очень быстро его отбросила. Возможно ли? Граф женатый человек, а то, что с женой у него вышло некое несогласие, то это вовсе ничего не значит, ведь до свадьбы, говорят, был у них очень пылкий роман.

– Покупку изволите делать, Варвара Дмитриевна? – Наконец выдавил из себя Погожев, глаза которого ни на секунду не отрывались от ее лица, отчего Варенька почувствовала, как румянец заливаает ей щеки.

– Я, – начала она, все гуще краснея, оттого что более все-

го иного стыдилась своего смущения, никак не вязавшегося с повадками легкомысленного века, когда всякий разговор должен быть непринужденным, — я по поручению ее императорского величества государыни Екатерины Алексеевны, вот вещицу принесла к господину Функу в починку.

Граф бросил взгляд на вещицу, которую по-прежнему вертел в руках ювелир, и просиял.

— Вот прекрасно, что я вас встретил, Варвара Дмитриевна! Пожалуй, вы будете мне бесценной помощницей!

— Коли смогу.

— Да это истинно, говорю вам. Вы только и сможете мне посоветовать.

— Отчего ж именно я?

Граф не нашелся, что ответить и сразу приступил к делу.

— Я хочу сделать подарок государыне нашей.

— Боже милостивый, Алексей Васильевич, да слыхано ли такое? Подарки делают к праздникам, но просто так, государыне...

— Да не успел я к праздникам, Варвара Дмитриевна, замешкался. Может ее величество меня простит, ведь сердце у нее доброе.

— Доброе, — поспешила заверить Варвара, — однако ж можем ли мы, простые смертные...

— Мнится мне, что можем, Варвара Дмитриевна, ведь подарок будет сделан от сердца, переполненного чувствами.

— Вольно ж вам так говорить! Всякий любит свою госуда-

рыню, от которой мы видим только доброе, но преподнести подарок может лишь равный.

– А как же алмаз, подаренный государыне Орловым?

– Но ведь то, – заговорила Варенька, но тут же закусила губу, вспомнив, что говорили при дворе о том происшествии, после которого граф был отослан, – коли так, чем я могу помочь вам, Алексей Васильевич?

– Вы, Варвара Дмитриевна, с вашим вкусом и чутьем только и сможете мне посоветовать, какой это должен быть подарок.

– Однако, ведь алмаза, подобного Орлову, у вас, кажется нет, так чем же вы сможете оправдать свою дерзость?

– Алмаза точно, нет, – согласился Погожев, – зато другое имеется.

С этими словами он указал на большого бородатого мужика, что топтался в отдалении. В руках у мужика был какой-то короб, который он держал с бережением, словно малое дитя.

– Поди сюда, Федот, – позвал он мужика, – давай, покажи Варваре Дмитриевне наши сокровища.

Мужик сначала было покосился на Вареньку, и вид его не изобличал радости в душе, но то ли Варенькин кроткий взгляд, то ли юный возраст быстро переменили его отношение, и он уж без опаски, хотя и с великой осторожностью, открыл короб. Там в ячейках, точно в сотах лежали самоцветные камни, иные большие, иные совсем маленькие. В полу-

тьме мастерской не очень-то были видны их цвета и переливы, но все же в воздухе над ними появились маленькие искорки, похожие на зависшие капельки дождя.

— Вот, — проговорил Погожев, — много всего. Государыне на новую забаву достанет, — тут он кивнул на брошь, что была в руках у Функа и оба они, не сговариваясь, посмотрели на ювелира и выяснилось, что тот вовсе забыл уже про государынин заказ, и во все глаза смотрит на диковинки, что лежат в коробе у бородатого мужика. Смотрит, руками разводит и губами шамкает, но из уст его ни одного немецкого слова не выходит, а только охи и ахи.

— Ну что, Арнольд Христофорыч, — кивнул ему граф, — сделаем государыне диковинку?

Арнольд Христофорович тут же засеменял из-за конторки к графу, выкрикивая на ходу что-то совершенно восторженное и очень длинное, и исключительно немецкое, словом то, что понять было никак нельзя. Варенька и не пыталась.

Ей было как-то не по себе и что-то не нравилось. И еще ей подумалось, что граф очень собой хорош и хорош вовсе не той кукольной красотой, которой в избытке одарен Комарицкий, а хорош по-настоящему и очень по-мужски. Его движения и манеры, лишенные какой-либо плавности и изящества, ей почему-то очень нравились. Она внимательно смотрела, как он показывал Функу коллекцию камней, примечала, как повелительны и вместе не обидны были его слова, обращенные к бородачу, как он слушал ювелира, восхищавше-

гося достоинствами иных экземпляров. И в голове ее зарождалась мысль, что она очень даже хорошо понимает досаду императрицы, которая отослала графа от себя, узнав про его отношения с Прасковьей Ивановной Вертуновской.

Но эта мысль была крамольной и непопознанной, и еще было в ней, в этой мысли, что-то такое, что и того более раздражило Вареньку. Она ее постаралась уговорить, и снова искоса взглянула на Функа, хлопотавшего возле мужика с коробом – мужик-то короб из своих рук так и не выпустил.

Ради такого небывалого дела в приемное помещение принесли еще свечей, и камни теперь было хорошо видно. Функ брал в руки каждый, осторожно проводил по нему рукой и рассматривал на свет – и всякий раз причмокивал языком и на очень корявом русском без конца повторял, что камни действительно стоящие и коллекция подобрана превосходно.

– Ну, что я говорил! – воскликнул Погосев и взглянул на Вареньку, а взглянув, вдруг переменялся в лице и не стал отводить взора, только проговорил с невесть откуда взявшейся нежностью, – Варенька....

Она стояла возле подсвечника, и от пламени свечей и теплой шубы ей стало совсем жарко, потому она скинула шубку на руки подбежавшего подмастерья, и осталась в простом светлом шелковом платье, которое было предписано ей по фрейлинскому званию.

Варенька и сама знала, что хороша. Ей об этом с самого

детства твердили и зеркала доказывали, что это и вправду было так, но к красоте своей она давно привыкла и не думала относиться к ней как к чему-то особенному. Да это все было до того дня и даже до того самого часа, когда она вот так неожиданно встретила у господина Функа графа Погожева. Теперь и именно теперь ей красота сделалась совершенно необходима, и она уже точно знала, что этим особенным ноткам в его голосе, прозвучавшим, когда он называл ее по имени, она обязана как раз своей красоте и свежести. Но главное, она знала еще и другое, – она была уверена, что, если кто-нибудь отнимет у нее вот этот его взгляд, она будет несчастна. Ну, пусть только кто-нибудь посмеет это сделать!

Она подошла поближе к графу, так близко, что он очень хорошо мог ее рассмотреть. И он вправду смотрел, держал ее взглядом, не отпускал, словно желая навсегда запечатлеть в душе ее образ – бездонные глаза, лоб Мадонны, покатые плечи и то упругое волшебство, что еле скрывал тугой корсет. Смотрел, пока не был отвлечен Функом, тычущим пальцем в некий экземпляр.

Повернувшись к ювелиру, он не сразу и сообразил, о чем тот толкует, а тот говорил как раз о розовом империале, который совершенно необходим, чтобы восстановить драгоценный цветок в той корзиночке, что привезла Варенька из дворца. Когда Погожев все-таки понял в чем дело, то великодушно согласился на все Функовы условия. Тот же пообещал графу посетить его тот же час, как только граф пожелает

и принести эскизы гарнитуров, что можно сотворить из того великолепия, которым владел граф.

Впрочем, гарнитур – это слишком интимно, тут же заметил ювелир, возможно, лучше было бы остановиться на чем-нибудь более нейтральном. Какое-нибудь пресс-папье, письменный прибор или ларец для особо важных бумаг. Но граф недовольно затряс головой. Решительно нет. Может, конечно, и не гарнитур, но уж и не пресс-папье. Что-нибудь куда более личное. И тут он снова обратился к Вареньке, – а как она думает? А Вареньке отчего-то пришли на ум княжна Трубецкая и Катерина Перекусихина, которых она застала за нюханьем табака нынче, когда пыталась пристроить Ящичек Амура в следующие руки.

– Может табакерку, – несмело предложила она, припомнив к тому же, как часто натыкалась на табакерки в самых различных уголках личных покоев государыни.

– Пожалуй вы правы, Варвара Дмитриевна, – согласился Погожев, знавший, что государыня воздаст должное хорошему табачку, от кого ж как не от нее эта мода пошла при дворе? – Вы подсказали мне добрую мысль. Я был уверен, что наша встреча не случайна.

При этих словах Алексей Васильич посмотрел ей прямо в глаза, но теперь Варенька не смутилась. Потом уже, когда она перебирала в памяти подробности этой встречи, она даже решила, что может поздравить себя с первой победой над стыдливостью, которая ей ужас как докучала с тех самых пор, как

ее стали вывозить, а уж как получила она фрейлинское звание – и того больше.

Вареньке ювелир растолковал, что камни, составлявшие розу в драгоценной корзинке, встречаются чрезвычайно редко и это большое везение, что таковой удалось найти, спасибо господину графу. Так вот, мол, он сей момент не сможет вернуть украшение государыне. Но, поскольку камень найден, он конечно же, в кратчайший срок, восстановит драгоценную корзиночку, но прямо сейчас это сделать совершенно невозможно, так как работа по огранке займет немалое время.

С тем Варенька и Погожев покинули ювелирную мастерскую. Оба были притихшие и оба не спешили расстаться, несмотря на мороз, который к вечеру стал крепчать.

– Когда я снова увижу вас, Варвара Дмитриевна? – вдруг решился спросить Погожев.

– Теперь я почти всякий день во Дворце. Государыня удостоила меня чести называться ее фрейлиной. Но вы не часто бываете...

– Поверьте мне, Варвара Дмитриевна, теперь все изменится.

– В таком случае вы очень скоро сможете передать следующему вот эту шкатулку, - проговорила Варенька, и вынула из муфты Ящичек Амура, который уже перестала в душе называть злополучным и который несколько минут назад принял в свое нутро еще одну вещь, – вот вам граф.

Отдав Ящичек, она быстро распрощалась с Алексеем Васильичем и, отвернувшись чтобы идти к экипажу, тут же наткнулась взглядом на собственного брата князя Сергея Дмитриевича Полетаева, что помогал выйти из кареты-берлинки высокой даме в богатом меховом мантио. Дама, легко перебирая ножками, быстро сошла на землю и тут Варенька ее узнала. Это была хорошо известная при дворе Александра Васильевна Браницкая – племянница самого светлейшего князя Потемкина. Оба они – и братец, и Александра Васильевна смотрели теперь на нее и звали к себе. И в том, что они прекрасно видели, как Варвара разговаривает с опальным графом, у нее не было никаких сомнений. Возможно, они даже узрели, как передала ему Варенька Ящичек Амура. То-то теперь разговоров будет!

В своих предположениях она не ошиблась. На лице брата изображалось недовольство, в глазах Александры Васильевны читался интерес. Варенька дружелюбно раскланялась с обоими, но братнего гнева это не устранило.

– В своем ли ты уме, Варвара? – Начал он безо всяких околичностей, – Где это видано с опальным шашни заводить! Притворяешься тихоней, а сама на свиданья тайные бегаешь. Смотри, вот скажу маменьке.

– Ты, братец, зачем напраслину возводишь, да еще перед Александрой Васильевной? – защищалась Варенька, – Я по поручению государыни ездила к ювелиру господину Функу, а с графом там встретила по чистой случайности.

– Да видали мы, как любезничали вы с ним. Вот еще раз увижу, что он на тебя так смотрит, так на дуэль вызову! Вы уж простите, Александра Васильевна, да сами видите, что за младшей сестрицей догляд еще нужен.

– Уж очень вы суровы, Сергей Дмитрич. – улыбнулась Браницкая, обнажив белейшие зубы, – Так ведь и обидеть сестрицу можно. Знаете, Варвара Дмитриевна, у меня ведь тоже брат есть, да его рано отдали в службу. Еще детьми мы разлучились. Росли мы одни сестры, и все думали, хорошо бы, коли был бы братец рядом, ан, нет. Видно, не всегда брат бывает защитником, иной раз тираном может сделаться.

– Пожалуй и вы строги ко мне, сударыня, – смутился Полетаев, – кто ж ее поучит, если я не поучу, батюшки-то у нас уж нет. А у ней жених уж имеется, так что не до любезностей с посторонними. – Тут он сизнова строго поглядел на Вареньку.

– Да вовсе тут любезности не причем, – с жаром защищалась та, взглядом ища поддержки у Браницкой, – просто граф спросил у меня, какой подарок уместно было бы сделать ее императорскому величеству, вот и все.

– Подарок! – изумился Полетаев и многозначительно посмотрел на Александру Васильевну.

– Должно, граф знает, что делает, – миролюбиво отозвалась та, чем успокоила его относительно графа, но не относительно Варвары.

– Вот, коли граф знает, то пусть и делает, что знает, а ты

в это дело не ввязывайся. Поняла ли ты меня, Варвара? Не то, дома усажу под замок и никуда не пущу.

– Вы, братец, права не имеете, я теперь при государыне, – затараторила Варенька, улучив минутку, – а графу я также сказала, что делать подарки ее императорскому величеству с его стороны предерзостно и что делать подарки должны равные равным.

– Ну коли так, – смягчился Полетаев и внимательно посмотрел на Браницкую, пытаясь понять, насколько хорошо дошел до нее смысл слов, которые, несомненно, скоро достигнут ушей самого Светлейшего и уж точно будут пересказаны государыне. – Несомненно Александра Васильевна права, я с тобой слишком строг, а ты девица разумная...

Александра Васильевна величественно улыбалась, понимая, что брат и сестра именно перед ней сейчас оправдываются. Смешные право, будто ей дело есть до сей мышиной возни. Чтобы успокоить Полетаевых, она сделала вид вполне доброжелательный и даже сочувственный. Варенька, узрев в ее глазах поддержку, вдруг выпалила в благом порыве:

– А граф вовсе не плохой человек! Он зело переживает и в подарке своем хочет выразить все чувства свои к государыне.

Князь аж побелел с лица. Ну что ты будешь делать! Вот нашлась заступница! Да за кого! Не в правду ли с ума спрыгнула девка?! Чего еще она тут наговорит, не известно.

– Ты поезжай, Варвара, – строго сказал он, – тебя, я чай, уж заждались, а я с тобой после потолкую.

— Не жаждались. Мне Анна Степановна разрешила к маменьке съездить.

— Ну, вот и поезжай. А я тоже приеду, вот как Александру Васильевну провожу. Там мы с тобой и потолкуем.

Нельзя сказать, что братнее обещание очень порадовало Вареньку, уж больно сурово оно было высказано. Но что брат может сделать? Ну, побранит, глупенькой назовет, но уж не запрет и на хлеб-воду не посадит. Зато она сделала доброе дело, похвалила перед Александрой Васильевной графа Погожева. Александра Васильевна слова эти обязательно дядюшке передаст и будет Погожеву куда проще устроить свои дела. Зачем ей это было, она еще и знать не знала и об этом не задумывалась. Однако уже сама с собой наедине она решила, что граф ей нравится. Очень нравится. А вот что делать дальше, было совершенно непонятно.

Но это ей не понятно было, а вот матушка, которая встретила ее объятиями и многократными поцелуями, тотчас принялась за расспросы, когда да когда они уж с Михаилом Федоровичем объявят свадьбу. Варвара точно знала, что никогда, да как сказать об этом маменьке, не имела представления. Ведь та уж лет десять как считала, что сын подружки Мишенька Комарицкий станет мужем ее дочки. Это было для нее также непреложно как солнце днем, а луна ночью. Скажи Варвара, что вовсе не хочет идти за Комарицкого, так для Евдокии Кирилловны свет перевернется. Потому она вместо

этого сказала, что вот-вот Сережа нагрянет, и Евдокия Кирилловна заохала и велела послать к повару узнать, что там обед.

А как закончила княгиня распоряжения, то присела к дочери на диванчик и обняла за плечи.

– Ну, как ты, рассказывай?

Варенька положила голову к маменьке на плечо да вздохнула.

– Тяжко, – вместо нее ответила Евдокия Кирилловна, – нешто не знаю. Меня, бывало, тоже все тихоней звали. Перед всеми робела, кавалеров стеснялась, хотя красота моя не меньше твоей была.

– Да я вся в вас, маменька.

– Ну, вся да не вся, – загадочно сказала Евдокия Кирилловна, отстраняя дочь и беря в руки ее лицо, – а ты не завела ли там с кем адюльтеру, что это о свадьбе промолчала?

– А вы маменька, право, странная. Михаил Федорович мне и предложения-то никакого не делал, а вы уж все решили.

– Да какое уж тут предложение между своими людьми! Он уже сколько лет в дом ходит, так и без предложения все ясно. Что за комедия еще предложения делать?

Евдокия Кирилловна удивленно рассматривала дочь и словно не узнавала ее. Да, впрочем, и Варенька не видела матушку таковою. Лицо княгини, уже не молодое, но гладкое и белое, лишь кое-где прорезанное морщинками теперь вдруг,

словно, ждалось. Алебастровый лоб пересекла глубокая борозда и вокруг губ залегли складки. А взгляд ее стал таким острым, что от него хотелось укрыться. Где тут признаться маменьке, что Варенька решила и поклялась себе княгиней Комарицкой не быть никогда. Ну, что бы сама она догадалась! А княгиня, как назло, свое.

– Смотри, Варвара, – наставляла она дочь, – упустим жениха, так другой может и не объявиться. Состояние-то нам батюшка твой, Дмитрий Павлович, дай ему Господь царствие небесное, оставил не слишком большое. Так-то оно так, красоту твою тоже со счетов списывать нельзя, да ведь ты робка. Не сможешь, как Прасковья Вертуновская занять себе богатого мужа, так уж довольствуйся, носа не крути, не то в девках останешься.

Вот ведь уж второй раз за день пророчили Вареньке будущность вековухи. Случайно ли? Может зря она бросила в Ящичек Амура сломанную монетку, и теперь отомстит ей маленький языческий божок за такое подношение. А ведь если разобраться, может оно так и будет. Потому что человек, за которого она бы пошла замуж не раздумывая, теперь уж занят. Мало того, что женат, грезит наяву об самой императрице, так что возле него ей места вовсе нет.

– Варвара, – тормошила ее мать, – ты, я смотрю, и задумываться начала, – неужто я права, вскружил кто-нибудь твою неразумную голову?

– А вы, маменька, у меня спросите, – раздался тут голос

Сергея Дмитриевича от самого входу в большую залу, где Евдокия Кирилловна беседовала с дочерью, — от нее вы почти ничего не добьетесь. Я уж ее наставлял, да ничего не действует, чуть всю семью под монастырь не подвела, хорошо я удар отвел.

Евдокия Кирилловна охнула и приложила руку к губам.

— Да как же это?

— Вот я вам сейчас все расскажу, а вы маменька ее наставляйте, как себя вести. Эдак она и мне в службе урон сделает. Я ведь к князю Потемкину сколь давно просился и только меня Светлейший взял к себе, как тут такая компрометация.

Евдокия Кирилловна уж и вовсе расстроенная усадила сына напротив себя и приготовилась слушать его повесть. Вареньку тоже принудили.

— Это ведь ты, Варвара, своим девичьим умом думаешь, что все пустое, — убежденно начитывал братец, — а сама не понимаешь ты, что вмешалась в дело политическое.

— Политическое! — воскликнула княгиня и стиснула кулачки, — ты может Сережа, прибавляешь? Ну, быть того не может! Варенька у нас тишайшая, куда ей в политики-то лезть?

— А вот увидите, маменька, — гнул свое Сергей Дмитриич и, выложил все, что видел своими собственными глазами и слышал своими же ушами на Адмиралтейской, а потом, не дав еще Евдокии Кирилловне опомниться, тут же указал на подоплеку.

– Я говорить буду откровенно, не считаясь с Варвариным незамужним положением. Она девица не самого нежного возраста, так уж все должна понимать, а коли сама не понимает, то я ей растолкую, иначе наделает дел, так и я погорю и все мы разом. Так вот, – продолжил он, жестом повелевая дамам помалкивать, – Погожев оказался в спальне государыни нашей уж не знаю чьим промыслом, только не светлейшего. А надобно знать, что только он, и никто в целом свете не вправе подбирать ей амантов. Вот почему графа и... отодвинули. Понятно? А эта милушка, – тут перст князя Сергея Дмитрича указал на сестрицу, – за него хлопотать вздумала! Да перед кем! Перед самой Александрой Васильевной! Да где это видано! Она ведь уж через час все дяде донесет, а там прощай моя карьера, да и Варваре ничего хорошего. Ясно ли?

Вареньке было ясно. Она сидела с широко распахнутыми глазами. В голове не было ни одной зацепки, чтобы хоть как-нибудь оправдаться. Вот они, дворцовые интриги. Смысл этих слов только теперь и дошел до нее. И уж теперь вид ее был столь жалок, что даже и братец смягчился.

– Ладно, Варвара, – сказал он важно, – может я и сам маху дал. Может должен был тебя просветить своевременно, да я все думал, ты не особенно в девках удержишься, а выскочишь за своего Мишеньку, и будешь производить Комарицких, а ты что-то не спешишь.

Варенька пожала плечами.

– Что, неужто уж разлюбила? – Шутливо спросил братец, но тут же нахмурился что-то вспомнив, – так-так-так, а что это ты нынче графу-то передала? Видел я, как ты что-то из муфты высвободила, да ему вручила. Какую-то коробочку. Я еще тогда подумал, хорошо, что Александра Васильевна отвернулась и смотрит на другую сторону улицы, не то бы сраму не оберешься.

– А это Ящичек такой для безделушек, ну, Ящик Амура, – смущаясь проговорила Варенька.

– Вот, маменька, а вы говорите, тихоня! – Всплеснул руками Сергей Дмитриевич.

– Да что ж мне было с ним делать? Мне его Комарицкий принес перед самым тем, как меня послали с поручением, так уж я не знала кому этот Ящик пристроить, вот и вручила графу.

– Дитя мое, – вскричала княгиня, – но что ж он теперь о тебе подумает!

– А что, маменька?

– Но ведь он же может вообразить Бог знает что! Нет, в наше время девушки не были так смелы! Да и вообще, – княгиня развела руками, – разве в наше время молодой мужчина стал бы советоваться с барышней, что подарить своей государыне? Нет, я долго прожила при дворе, но подобного не припомню.

– Чем это вы так разгневаны, дражайшая Евдокия Кирилловна? – Услышали они тут хорошо знакомый всем Полета-

евым тенором.

— Мишенька! — Обрадовалась княгиня, — Друг мой, как я рада! Только ты и сможешь искренне поддержать нас в наших несчастьях.

— Вечно к услугам вашим, великолепная княгиня.

— Ох, сластословец! — Отмахнулась она шутливо. — Слышал, что нынче твоя нареченная-то вытворила? Хоть бы уж ты побыстрее ее усадил в дому, да пусть детей воспитывает, а то одни беды от этой ее службы.

— Я весь внимание, великолепная княгиня, но должен упредить, Варвару Дмитриевну уж Анна Степановна желает видеть с отчетом о поручении. Так меня за ней нарочно послали, чтобы ехала во дворец.

— И даже не пообедаст? Вот беда! Ну что ж, поди, дитя мое неразумное, — вздохнула княгиня. — Дай все же поцелую тебя на прощанье. Да гляди, ходи по половице, иначе придется запереть тебя в деревне.

На этот раз Варенька была и рада уйти из дому, где все теперь были настроены нехорошо. И еще ей надо было обдумать все услышанное от брата, ведь после его откровений, она, и вправду, стала видеть все как бы в совершенно ином свете. Потому Варенька быстро подхватила шубку и прыгнула в экипаж. До Зимнего было всего ничего, но мороз так усилился, что и за те минуты что ехали, княжна успела замерзнуть. Или это дрожь была ее совсем по другой причине, так Варвара и не поняла.

Протасова уж ее дожидалась. Вареньке велели тотчас пройти к камер-югфере в комнату.

— Привезла ли? — сразу спросила та.

Тут Варенька поведала всю историю своей поездки к ювелиру, исключая лишь разговоры с графом о предполагаемом подарке ее величеству. Однако ту подробность, что Погожев без колебаний отдал камень из своей коллекции для восстановления броши ее величества, не упустила, но лишь потому, что обойти ее не было никакой возможности. Анна Степановна изумилась.

— Смотри пожалуйста. Ты никому пока о том не рассказывай, поняла?

Варенька сразу кивнула. "Теперь-то уж точно никому ничего и никогда", — подумала она. Однако поспешность Вареньки побудила Протасову более внимательно к ней приглядеться. Варвара постаралась сделать непроницаемое лицо.

— То-то же, — кивнула камер-югфера, — побудь тут пока, а я к государыне.

Оставшись одна в покоях Анны Степановны, Варенька осмотрелась по сторонам. Камер-юнгфера жила куда вольготнее, чем простые фрейлины. Большая кровать с балдахином, дорогой шкаф для платьев, ковер на полу, часы над поставцом, печка в голландских изразцах и красивые вещицы на камине, на столике перед зеркалом, возле кровати. У других фрейлин такой роскоши не было. Узкая девичья кровать

частенько бывала уж далеко не новой и даже хромоногой, платья висели за ширмочкой, кувшин и тазик для умывания улыбались щербинами.

Варенька с удовольствием прошлась по уютным богатым комнатам, потрогала дорогие бархатные портьеры в будуаре, провела рукой по полированным бокам круглого игорного столика на толстой монументальной ножке, похожей на лапу индийского слона, одетую в резные деревянные кружева. Должно быть, Анна Степановна часто собирала у себя близких товаров, иначе для чего таковой столик тут нужен?

Впрочем, может это были кавалеры. Вареньке о даме этой было известно многое такое, что никак не вязалось с ее внешностью. Говорили, что прежде, чем удостоиться попасть в случай, многие претенденты в аманты государыни экзаменовались именно этой дамой. При мысли сей Варенька невольно посмотрела на роскошную постель. Но ничего такого представить себе не смогла. Ей только сызнава вспомнился граф Погожев, и она опять покраснела.

Тут же хотела она отвести глаза и отогнать стыдные картины, но ее внимание привлек какой-то цветной ворох, горкой высившийся на голубом атласном покрывале. Варенька несмело подошла, подозревая, что в комнате может быть еще кто-нибудь одушевленный, но в неверном свете свечей разглядела всего лишь впопыхах сброшенный мужской костюм — камзол и панталоны красного бархата винного оттенка и тончайшее белье. Из-под белой батистовой сороч-

ки высовывался парик пепельного цвета, так густо сдобренный пудрой, что большие ошметки оной неаккуратно осели на ярком бархате камзола и припорошили изысканный узор покрывала.

Варенька инстинктивно отпрянула, предполагая, что в комнате, точно, где-нибудь за ширмой прячется очередной соискатель внимания знатной дамы. Наверняка он следит за ней и, верно, ее нескромное любопытство не укрылось от его взора. Как неприятно! Что о ней, о княжне Варваре Полетаевой, могут теперь подумать!? Любопытная сплетница, да еще, – тут Варенька припомнила свои давешние подвиги, совершенные в присутствии Александры Васильевны, – да еще не воздержана на язык, и до крайности наивна. До крайности! Да, что и говорить, откровенная дурочка. То-то пойдет молва!

Так бы Варенька себя грызла и грызла, да за дверью слышались шаги Анны Степановны. Варвара постаралась овладеть собственными чувствами – нельзя, чтобы еще и камер-юнгфера составила о ней ложное представление. Ведь Варенька все же не дурочка, чтобы там не говорили.

– Ну вот и я, – возвестила Протасова.

Варенька сделала книксен.

Протасова снова внимательно на нее посмотрела, но спросила только, как поживает маменька, а более ничего.

– Благодарствую ваше превосходительство, маменька здорова, ответила княжна, приседая.

– Вот и славно, – улыбнулась Анна Степановна, – ты иди теперь. Да слышишь, княжна Варвара, про империал, что Погожев дал для цветка – никому.

Варенька снова сделала книксен и опустила глаза. На этот раз камер-юнгфера осталась ею вполне довольна.

Глава третья. Переломление несчастной воли судьбы

Зима в Петербурге выдалась на диво холодная. Весь январь выла выюга, от которой замерзали окна и трещало в углах. Печи, как не топи, не давали достаточно тепла, чтобы обогреть графские хоромы, что на Невском возле моста через реку Мойку.

Этот дом был построен еще прадедом – сподвижником самого Петра Великого и ярким сторонником всех его прозападных идей. Мало кто из природных аристократов в те времена поддержал молодого царя, но боярин Погожев поддержал, видя в них только доброе. Оттого был в большой милости и в доверии самодержца. Отсюда и капиталы, семьей нажитые. Отсюда и графское достоинство, закрепленное за семьей на вечные времена.

Конечно, и до Петровских преобразований Погожевы без дела не сидели и богатства сумели нажить, да еще какие! Кроме обширных имений с хорошей черной землицей и вольготными выпасами для скота, были у них еще и промыслы солеваренные. И это именно оттого Погожевы Петровские реформы так живо восприняли, что видели в оных возможности для расширения промысла и торговли. Так оно и произошло.

Однако ж прадедам недолго плодами реформ дали насладиться. При Екатерине Первой предприятие солеваренное отписали в казну — и вся недолга. Впрочем то, что успели поднакопить Арсений Федорович, а за ним и Федор Арсеньевич, никуда не делось, а сыновьями, приученными к трудам и рачительности, было только приумножено. Оттого и особняк большой каменный Погожевский был чуть ли не самым первым в Петербурге — дань моде, вложение капитала и услуга короне, ведь не всякий вельможа из новоявленных мог себе позволить столь основательное строение, в то время как императорский дом весьма ратовал за то, чтобы сделать Петров город истинно европейским и блистательным.

Теперь Алексей Васильевич стоял у высокого стрельчатого окна и сквозь кружевные узоры на стеклах смотрел на замерзшую, точно витязь панцирем покрывшуюся реку, на качающиеся под ветром заиндевелые ветки деревьев, на закутанных по самые глаза прохожих, и в голове у него все яснее выстраивался план, который он сам про себя называл «Переломление несчастной воли судьбы».

«Переломление» сие графу сделалось совершенно необходимо, потому что вовсе ему не было никакого резону уезжать из Питера и становится вслед за дядюшкой деревенским помещиком, не знающим иной жизни, кроме той, что вяло течет в округе. Однако ж несказанно трудно оказалось спорить с судьбой, и он чуть было не спасовал. Спервоначалу, это в тот самый день, как наткнулся на холодный прием

при дворе и узрел множество затылков, прежде почитавших честью водить с ним дружбу людей, Погожев впал в совершенную растерянность и даже слезу пустил, сбежав прямо с того памятного куртага в ближайший трактир.

Здесь его встретили куда любезней, и предложений последовало ему множество. Две крепкие и весьма фигуристые немки присели возле стола, сделав книксен какой-то уж очень затяжной и с таким низким поклоном, что это был уж вовсе не книксен, а целый реверанс. Однако целью сих див была демонстрация своих пышных прелестей, что вполне оправдывало средства, потому что демонстрировать было что, и на минуту Алексей Васильич забыл свои горести.

Потом после не известно уж какой рюмки хорошего рейнвейну, тискал он обеих немочек и засовывал золотые им прямо за корсеты. Немочки кокетливо тупились и каждый раз говорили «битте», а потом уж лопотали на своем немецком, коему Погожев был выучен плохо, и оттого немочек еле понимал. Но что ему было до сего. Какая разница чего они там стрекочут? Гораздо действеннее было для него одно слово, произнесенное по-русски.

– О, Полетаев! – Вскричал некто из глубины трактира и поднялся навстречу молодому князю, только что вошедшему с мороза.

Алексей Васильич поднял на него глаза и долго всматривался, почему-то ему казалось, что князь Полетаев должен был быть непременно с сестрой. И Варенька вроде бы и прав-

да улыбнулась ему из-за плеча брата. Но потом он понял, что это была не Варенька, а трактирщица, и как только мог спутать? Да и что может делать молодая княжна в трактире? Глупость какая-то. Тьфу!

Постучал кулаком по столу. Потребовал, чтобы Гретхен или Амалия принесли ему еще вина. Одна из них встала – Гретхен или Амалия он и знать не знал. Но вроде бы Гретхен потоньше в талии, а Амалия покряжистее, и вся в веснушках. Впрочем, может и наоборот. А как определить какова та, что ушла за вином, коли она ушла, ее уж и не спросишь, Гретхен она или Амалия. Погожев медленно повернулся к фройляйн, что осталась с ним за столом и теперь водила пальчиком по его ляжке, обтянутой бархатными штанами, и томно взирала то на него, то куда-то на угол поставца с расписными тарелками.

Алексею Васильичу очень хотелось спросить, Гретхен она или Амалия, но то ли от томного взора, то ли от шаловливого пальчика по его спине пошли мурашки. Гретхен или Амалия, узрев в нем перемены, крепко схватила за запястье и потащила куда-то, и, он точно помнил, что пошел за ней, но по пути взглядом наткнулся на князя Полетаева, который ужинал в дружеском кругу – без всяких там девок. Полетаев, как назло, посмотрел прямо на графа, и в чертах его граф увидел что-то знакомое до боли, что-то Варенькино, и оттолкнув Гретхен или Амалию, повернул к двери.

Впрочем, это ему казалось, что он пошел. На самом де-

ле, Сергей Дмитриевич и его сотрапезники почти выволокли графа за дверь, нашли для него извозчика и даже заплатили за перевозку насмерть пьяного Погожева в родное гнездо. Впрочем, ничего этого Погожев уже не помнил. Даже наутро, перебирая подробности событий предыдущего дня, он мало что мог восстановить в памяти. Только иной раз всплывали перед внутренним его взором глаза князя Полетаева, так похожие на Варенькины и граф понимал, что что-то с ним такое связано, но вот что...

Чему и удивляться, в голове у графа царил такой сумбур, что и не мудрено. То ему мнился внимательный лучистый и величественно холодный взор самой императрицы, которая оторвалась от разговоров с Потемкиным и смотрела на него все то время, пока он проделывал путь от дверей парадной залы до ее возвышения. То он вспоминал сверлящий взгляд Циклопа. То вдруг перебегал мыслями на придворных, что вежливо раскланивались с ним и даже улыбались, но все издалека, как будто он был чумной. Смотри, уж похоронили! А давно ли личики делали заискивающие и кланялись низко, ниже даже чем Гретхен с Амалией!

Ну до чего ж лживые морды! Тьфу! Показать бы им! Вот, чтобы все они увидели, от кого нос воротят. Ведь, если разобратся, то две трети из них новорожденные аристократы – ни породы, ни особых достоинств. Он-то, не в пример этим выскочкам, исконный боярин. Погожев! Ничего! Он еще возьмет свое! Утрут носы и снова побегут в ножки кланяться.

Дайте только срок.

Вот тут граф и задумался по-настоящему. В конце концов, государыня только женщина. Он хорошо рассмотрел ее глаза тогда, после их ночи. Глаза ее, когда она смотрела на него, коленопреклоненного, сверху вниз были полны надеждой, и столько в них было чувств – и нежность, и недоверие, и даже опасение полюбить так, что забудешь все на свете. Такая любовь, говорят, связывала ее с Григорием Орловым.

Мысли об Орлове невольно навели Погожева на воспоминание о подаренном некогда государыне графом большущем алмазе, названном в честь дарителя. Ходили слухи что подарок, хоть и был сделан к именинам, а все ж имел под собой еще одно основание –размолвку, произошедшую между Екатериной и Орловым по причине любвеобильности последнего. Говорят, тогда Екатерина его простила. Государыня все же женщина, а женщины любят подарки, что коронованные, что и не коронованные, все равно.

А почему бы не преподнести государыне коллекцию драгоценных камней и минералов? « Раз она такая редкостная, так пусть ее величество тешится», - подумал граф. Но, поразмыслив еще немного, принял иное решение: нужно из минералов и драгоценных камней нечто такое соорудить, чтобы на всю столицу прогреметь. И красотой, богатством и великолепием вещь эта должна превосходить все, что отныне и до веку подарят государыне. Этим замыслом поделился он лишь с Федотом Проскуриным, и бородач, огладив

бороду, тут же впал в такую глухую задумчивость, что графу лишь только с помощью окрика удалось пробудить его.

— Говорю, поди отбери все самые дорогие камни. К ювелиру поедem.

Федот кивнул и поклонившись графу медленно пошел во-свояси. Но глаза его были какими-то точно осоловелыми. Вот тут и опять впору задуматься честный он человек или только вид делает. Но Алексею Васильичу было не до того, и он не задумался.

После визита к ювелиру Погожев вовсе повеселел. И вот сам бы не ответил, от чего больше — оттого, что повидавший на своем веку разное Функ, так живо заинтересовался его коллекцией или оттого, что он впервые так близко и на-коротке поговорил с Варенькой, встреча с которой, он верил, не была ему случайной.

Варенька расцвела пуще прежнего. Полгода назад она уже была хороша, но нынче красота ее стала уж и вовсе замеча-тельной. И прикоснуться к Вареньке было страшно, потому что никак нельзя было понять — настоящая она или морок, что поселился в его голове, еще не совсем проветрившейся после вчерашних возлияний. Но это все было еще до того, как Варвара скинула шубку, а уж как скинула, то он и вовсе дышать перестал и все мысли из его головы напрочь вывет-рились.

Что там говорил Функ, на каких настаивал кондициях, он ничего не помнил, кроме девичьих глаз, точеной шейки, бар-

хатных щечек и темных кудряшек. Варенька часто дышала и медальон на тонкой бархотке словно приседал в реверансе. Заметный такой медальон, весь в золотых завитушках, усыпанных мелкими диамантами. В пламени свечей он рассыпался снопом искорок, отчего вокруг Варвариной и без того аппетитной груди образовалось некое подобие нимба.

Графа от таких воспоминаний аж в пот бросило. Да и что это он? Мечтая возратить мимолетное счастье быть государыниным амантом, думает все время о другой. Да не ясно ль, что к ней ему путь все одно заказан. Заказан стараниями Параськи Вертуновской. И на что только свела его с ней горькая судьбина? Но граф все же верил в свое счастье. И нынче, стоя у окна, а также прохаживаясь по кабинету, продолжал раздумывать над стратегией «переломления несчастной воли судьбы».

Раздумья его, когда они шли в правильном русле, касались до предмета, который разумно преподнести ее царскому величеству. И тут он все более склонялся к тому, что посоветовала ему Варенька, а именно – к табакерке. Но таких у государыни было много множество. Как бы сделать такую особенную, что была бы названа любимой и непременно Погожевской. Мысль была очень заманчивой, и граф напрягал всю свою фантазию, но ничего такого необычного придумать не мог. Все, как будто, было уже опробовано ранее. Зашедши в полный тупик, он велел позвать Функа, а Федоту Проскурину сказал приготовить камня для ювелира.

– Мне бы показать кой-чего... – робко попросил Федот.

– Ах, после, братец, после, – поморщился граф, – и без тебя голова кругом. Потом покажешь.

Поджидая ювелира, Погожев продолжил расхаживать по кабинету, как вдруг услышал, что за спиной распахнулась дверь. Стройная фигурка в светлой материи всплыла в комнату. Степанида.

– Ну, чего тебе, красавица?

– От обоза прискакали.

– Что говорят?

– Что, должно быть, не менее недели придется ждать декораций-то. Да уж актеры сильно померзли. Не велишь ли хоть бы хористам да балету ехать вперед, оставив декорации.

– Вздор! А кто присмотрит? Там костюмов и машинерии на великие деньги, а ну разворуют дорогой.

– Воля твоя, батюшка-граф, – раскраснелась Степанида, – а, я чай, они живые люди. Померзнут дорогой, так болеть еще начнут. А с больных-то тебе какой прок?

– И ведь, тоже, верно, – вздохнул граф. – Чего делать-то?

Степанида плечиком пожала. Улыбнулась и ресницы опустила.

– Ну говори, лиса.

– Отправь к обозу хоть шуб каких-никаких, да жаровен для колымаг, особливо, где хористы едут.

– Отправь! Да кто ж поедет?

– А вон дворни мало что ль! Одни лентяи. Чего сделать,

не допросишься! Один пьян, другой на боковой лежит. Распустила всех графинюшка!

– Это какая графинюшка? – нахмурился Погожев, – Ты это Параську графинею зовешь! Не смей, Степанида!

– Воля ваша, ваше сиятельство. – Степанида присела в реверансе. Душа ее ликовала. Так ликовала, что и сказать нельзя.

– Ладно, поди. Мне некогда теперь. Функ будет с минуты на минуту. Так ты сама распоряжения дай насчет тулупов и жаровен.

Степанида снова присела в знак покорности. Но уходить не торопилась, от того, что знала, кто он такой есть господин Функ. На перстенок, графом дареный посмотрела украдкой. А ну как граф ей еще какой подарок сделает! Чего иначе он Функа этого позвал?

– Я вот еще думаю, – сказала она медленно, пытаясь тянуть время, – не послать ли туда хлеба, да солонины, да может еще вина, чтобы сугреться было чем, да...

– Пошли чего хочешь. На то моя воля, так и скажи управляющему. Теперь иди!

Степанида никаких возражений не высказала, да только выйти не спешила, весьма предстоящим визитом ювелира заинтригованная. Вот тут дверь и распахнулась, впуская невысокого подслеповатого немца, а с ним немца помоложе, державшего в руках весьма объемистые папки. И ведь надо же такому случиться! В самое то время в соседней комнате

оказалась Прасковья. Алексей Васильевич аж вздрогнул от неожиданности, увидав ее в дверном проеме.

Немец же, в силу своей слепоты, особу, именуемую графиней Погожевой, не заметил, а принял за оную встретившую его на пороге графского кабинета Степаниду. Именно с ней он раскланялся и воздал все причитающиеся хозяйке дома почести.

Граф, которому не хотелось посвящать ювелира в свои семейные дела, не стал его разубеждать. Степанида и подавно. Она млела от счастья, подавая ручку старому немцу. А тот на очень корявом русском языке восхищался ее тонкими пальчиками и советовал графу заказать для нее гарнитур по эскизу, который он немедленно готов предложить.

Алексей Васильевич обещался. Ювелир, не тратя времени, снял с ее пальчика мерку и намекнул графу, что в его коллекции есть прекрасный опал, который как нельзя лучше пошел бы красавице-графине.

Степанида стояла, опустив очи долу и вздыхала мечтательно. Графу было вовсе не до гарнитуров для Степаниды, и он махнул рукой.

– После обсудим. Поди, Стеша, да позови Проскурина с коробками.

Тут только старый немец задумался, потому что слыхивал историю графа Погожева от своих многочисленных клиентов, и не раз. И он уж точно знал, что супругу графа зовут Прасковьей, а вовсе не так, как называл граф. Впрочем, немец

был третий калач и удивления не показал. Лишь почтительно поклонился даме и, взяв у подмастерья выдавшую виды толстую кожаную папку, повернулся и протянул ее богатому заказчику.

– Это фсе ест эскизы, – проговорил он с некоторой даже гордостью в голосе. Видно было, что ювелир почитает свой вкус отменным, а придумки необыкновенными.

Граф нетерпеливо принялся листать. Но почти сразу поймал себя на том, что ничего нового и необычного в Функовых эскизах не находит. Не находит, ну вот хоть тресни! Таковой в точности браслет видел он у княгини Голицыной. Эдакое кольцо у княжны Юсуповой, эдакое тоже мелькало где-то на балу.

– Да есть ли табакерки? – поинтересовался граф.

– Как ше ни быт! – Закивал Функ и тотчас взял у подмастерья другую папку и тоже протянул ее графу.

Погожев зашуршал листами. Немец давал пояснения.

– Фот сюда можно пустит яшму, а по краям сделает рамку из тумпазоф и на крышке большой сапфир. Фаша пейзажная яшма будет хараша к сапфиру. Это фам гаварю я, Арнольд Функ.

– Хорошо, – мрачно согласился граф и уж было хотел возразить, что, однако ж, все это уж не ново, как дверь снова отворилась, впуская Федота Проскурина, тащившего коробки.

Подслеповатые глаза Функа заблестели. Подмастерье весь обратился в зрение. Но Федот, на физиономии которого от-

печаталась некая досада, не торопился открывать крышки. И даже бесцеремонно отодвинул немцев, вплотную подошедших к Ящикам.

— Я вам, ваше сиятельство, вот что скажу, — начал он свою речь без всяких предисловий. — Вы коллекцию-то из дому не велите выносить. Батюшка ваш меня к ней приставил, так, стало быть, я жизнь положу, чтобы ни одного камушка из нее не пропало. Так что, коли хотите делать подарок императрице, делайте, но только чтоб дома. Вот в задних комнатах оборудуем мастерскую. Станок шлифовальный поставим, так и пусть себе приходят как на службу и тут диковинку свою делают, не то ведь не уследишь.

Граф, хоть и хмурясь выслушал Федотову речь, да ругать его не стал. И даже подивился столь дельному предложению. Сам же кивнул и посмотрел на Функа, на лице которого было написано возмущение.

— Я ест честный ремесленник и знаю сфои рамки, граф Алексей Фасильефич. Однако, как фы ест мой спаситель в том деле с империалом для корзиношки ее императорского феличестфа, я не смогу фам отказат. Харашо, если фы так хотите, мы с Питером — это мой родстфенник и подмастерье, будем приходить и делат диковинка для нашей дорогой государыни.

Погожева вдруг кольнула совесть, и он хотел было отказаться от таких услуг, но тут, сызнова подал голос Проскурин.

– Вот и славно! Батюшка бы одобрил, – с теми словами бородач отступил на шаг от коробок и открыл одну за другой крышки.

Граф в душе негодовал оттого, что Федот находит возможным вот так распорядиться, но упоминание о батюшке его сразу отрезвило. И он себя убедил, что это не кто иной, как сам Василий Федорович с небес приходит снова к нему на помощь, говоря при этом от лица простого поморского рыбака, некогда пригретого им в своем доме. Ну, на этот раз так тому и быть.

Немцы, вооружившись лупами и еще каким-то малоизвестным инструментом, приступили к рассмотрению содержимого коробок. Коробок было всего три. В первой разложены самые дорогие камни – диаманты, рубины, сапфиры, падпараджа, да несколько смарагдов, в том числе и тот большой, что был ценнее прочих. Каждый камень лежал в своей ячейке, обитой бархатом, а под бархат еще ветошка чистенькая была положена, чтобы камушку, не дай Бог, неуютно не было в его гнезде.

Василий Федорович камни-то живыми существами называл и всех уверял, что с ними судьба поступит также, как сами они поступают с камнями. Вот поддал человек ногой камень, лежащий на дороге, а и ему судьба також наподдала. А коли он его взял руками и легонько перенес на обочину, то и жизнь ему будет также сладка, как камушку этого человека прикосновение. Вот и слыл старший граф Погожев

чудаком из чудаков. Не понимали его люди. Вот разве только Функ.

– Фаш батюшка был истинный ценитель! – Говорил он, не сводя глаз с разноцветного многообразия. – Он теперь на небесах, где обретают покой фсе удифительные люди.

От первой коробки он перешел ко второй, где лежали самоцветы – разные кварцы, тумпазы, бериллы, аквамарины, турмалины всех известных цветов. От второй – к третьей. Здесь были поделочные камни: редкого окраса яшмы, ониксы, кремни, малахиты и другие разные, всех и не перечесть. И у каждой Функ отдал дань порядку и почти нероссийской щепетильности в подборе и раскладке образцов.

Граф же тем временем шуршал листами принесенных Функом эскизов и все хмурился. Не того ему хотелось. Не таковое виделось. Не так как-то нужно. Вот это может быть? Виноградная кисть из самоцветов на крышке, а по основанию винные кубки эмалью выведены. Любопытно, но не то...

Чуть было, во гневе пребывая, не отбросил листок с эскизом, как вдруг на что-то такое наткнулся. Что ж это было? Погожев начал ворошить листы с таким рвением, что мог их попросту все порвать, но вот тут-то и нашлось то самое.

На клочке желтоватой бумаги красовался рисунок, ну, ни дать ни взять подходящей вещицы. На сем рисунке изображена была табакерка, сделанная в виде небольшого пригорка. На вершине пригорка, опираясь пухлой ножкой на

большой овальный камень, предположительно смарагд, стоял Амур и целился Золотым луком прямо в пастушка, вольготно разлегшегося возле сидящей на травке из самоцветных каменьев, пастушки. В руке у пастушки был цветок, а внутри него – некая пружинка с секретом, нажатием на которую коробочка и открывалась, обнажая нутро, поделенное на несколько ячеек, как рекомендовала последняя мода.

– Вот! – граф победно потряс бумагой у себя над головой.

Функ, сделав соответствующую мину, приблизился к столу, за которым восседал Погожев и вгляделся в рисунок.

– Но это не ест мой эскиз! – сказал он возмущенно, – Не ест возможность сделает таких пастушков и пастореллин. Это же ест камен, а не глина.

– А почто рисовал?

– То я рисовал, ваше сиятельство, – скромно отозвался Федот Проскурин, который от своего места возле Ящиков ни на шаг не отступал.

– Ты, – подивился граф, – а чего молчал?

– Я уж хотел показать, а ваше сиятельство все молвили потом да потом. Вот уж я обманом. А этих пастушков с пастушками да божка Амура я уж выточу из кости. Тому научен. Правда, таких мелюсеньких еще делать не приходилось, да я спорый – наловчусь.... Коли надо.

Граф сказал, что надо. Функу же велел приглядеть, где какие должны быть камни. Но прежде, чем приступить к тому, Функ еще поартачился:

– Я должен фас предупредить, граф Алексей Фасильевич, что табакерка по эскизу этот гаспадин ошень много займет места – будет торчат из одежда и нарушат элегантний фид.

– Это как раз не причина, чтобы от сей изрядной выдумки отказываться, – отмахнулся граф, – уж я-то знаю, что Екатерина Алексеевна табакерок с собой никогда не нашивает – они во дворце повсеместно разбросаны, а при себе у нее их никогда и нет. Так еще с давних пор повелось. Бывший государь наш Петр Федорович не любил табаку, и вечно супруге своей выговаривал за сию привычку. Это она мне сама... Хм... Я слышал от многих приближенных... Оттого она и не стала табакерок при себе носить – чтобы искушения не было.

Немец не скрывал неудовольствия, но терять выгодный заказ глупо, и он нехотя согласился. Погожев, горя нетерпением увидеть диковинку поскорее, снова и снова вглядывался в эскиз, и вдруг, осененный идеей, чуть было не подпрыгнул на месте.

– А нельзя ли, Арнольд Христофорыч, внутри табакерки выгравировать еще стихи?

– Если мы будем делат диковинка из подходящего камня, то это будет мошно.

– Так делай, Арнольд Христофорыч, я нынче же сочиню. Функ снисходительно посмотрел на заказчика, но все же поклонился и пристально воззрился в распаханное нутро коробка, в коем хранились камни. Федот, который батюшкину коллекцию ни на секунду не оставлял, сердито нахмурился.

Стало быть, опасаться нечего, соблюдет камушки. Да и Функ расстарается. Куда ему деваться? Можно об этом деле покуда забыть. И то уж засиделся. Вот бы проехать верст десять галопом, а то и погарцевать.

Довольный сверх всякой меры граф вышел из кабинета. В большой зале потянулся, бросив взгляд на портрет отца, который всегда сразу выделял, несмотря на множество других, висящих рядом. Подмигнул старику, мол, мы еще возьмем свое. И повернул к лестнице, что вела на нижний этаж дома. Вот тут и достиг его ушей шум боевых действий, кои производились в доме. Коль скоро спустился, то тут же и выяснил, кто сии вояки.

Прасковья в сбившемся набок шиньоне, намотав волосы Степаниды на руку таскала ее по всем сеням, а та извивалась змеей и норовила то ударить барыню, а то и укусить. Однако же Прасковья не сдавалась. Злость придавала ей сил и напрочь отбивала чувствительность к маневрам Степаниды. Обе визжали точно резаные – одна от боли, а другая от злорадного удовольствия.

Дворня, присутствовавшая при этой сцене, реагировала неоднозначно. Иные хихикали в кулачок, иные боязливо таращили глаза, да дрожали, опасаясь, как бы и им не досталось на орехи. Нечего было и ждать, чтобы кто-то вступился за горемычную.

Увидав графа, все тотчас расступились. А на Праско-

вью новое остервенение нашло – она с такой силой дернула Стешку за косу, что в ее руке клочок волос остался. Степанида вскрикнула и повалились без чувств, а Прасковья со злостью пнула ее ногой и убежала прочь.

Граф тотчас велел поймать мятежную супругу и запереть в ее спальне. Сам же склонился над примой и дутьем в лицо попытался привести певицу свою в чувства. Та приоткрыла глаза, жалобно застонала и рукой коснулась больного места.

– Перенесите Степаниду в постель, – скомандовал Погожев, – да доктора позовите. Но о том, что было, молчок! Кто слово вымолвит, тому тотчас також будет.

– Что же доктору сказать? – осведомился просвещенный графский камердинер Прокопий Власьев, разглядывая свои ногти, – ведь чай спросит, что приключилось.

– А то не придумашь! – грозно насупился Погожев, – сва-ли на кого хочешь, да смотри, за Стешу мне все тут головой ответят!

За сим граф отвернулся от дворни и стал подниматься в комнату к нелюбезной супруге.

Прасковья рыдала и рвала волосы, но теперь уж себе. На ее некогда свежем лице плыли разведенные горячими слезами, сурьма и румяна. Слез Прасковьи граф дотолe не видал еще, и весьма удивлен был, что немилая супруга способность имеет плакать. А еще того более подивился Алексей Васильевич речам ее. Как только он вошел, Прасковья кинулась к нему, воздевая руки к небу и вопя, что он ее мученически

мучает, а она ни в чем нисколько не виновата.

– Это ты-то! – вскричал Погожев, который все то время, что прошло с их свадьбы именно себя считал жертвой, никак не ее.

– Ну в чем? В чем я виновата-то, скажи? Я ведь любила тебя больше жизни, а ты надсмеялся, бросил. С девкой живешь! Девке ювелира вызвал! Девка во всем доме распоряжается! Сама решает, что куда отправить, кому что дать! А я! Кто здесь я? Вовсе не хозяйка, а только тень какая-то.

Смотри что удумала! Что он ювелира для Степаниды вызвал. Дурная!

– А чего ты хотела-то, Прасковья? Знала ведь, что добром такое не кончится. Почто гирию пудовую мне на шею взвалила и утопить хотела, ведь знала же, что не люблю!

Прасковья вдруг перестала рыдать и посмотрела на него огромными темно-синими глазами. Надо же! А он и не знал, что у нее такие глаза. Словно и не видел их никогда. Да ведь и правду сказать, чего он в ней видел кроме богатого тела? Почитай ничего.

– А говорил, что любишь, – медленно и все еще прерывисто дыша произнесла Прасковья.

Граф опустил голову. Сам тоже, конечно, виноват. Но ведь она так давила на него тогда. Да и тетка ее еще тут как тут. Наверняка, все у них было подстроено. Эх, да что теперь!

– Иной раз чего не скажешь, – с тяжелым вздохом проговорил Погожев, – что ж всему верить? Ты-то Прасковья то-

же поди за графским титулом, да за богатством моим за меня пошла, а не по любви...

– Неправда! – Закричала тут графиня и даже ногой топнула. – Неправда! Неправда! Неправда! Я всегда, с первых дней, любила тебя! Думала о тебе. Я же, – тут она подошла к Погожеву вплотную, так близко, что он ощутил ее запах, который показался ему теперь каким-то тяжелым и даже душным, – я же знаю, что и ты тоже... только одну меня и видел ране-то. Ну разве не так?

При этих словах графиня руки развела так, чтоб ее роскошные формы были хорошо ему видны, но, так уж случилось, боле они ему не нравились. Он невольно отстранился.

– Послушай, Прасковья, – заговорил решительно, Прасковья хныкнула, но замолкла, – хочешь ты того или нет, но жена ты мне только перед людьми, жить я с тобой не хочу и не буду. Давай разойдемся полюбовно. Ты живи, как хочешь. Я буду жить, как могу. Уж коли виноваты вместе, так и вместе надо выбираться. Содержание я тебе положу хорошее. Амантов себе, коли хочешь, найдешь. Только детей, тобой прижитых, своими не признаю, не жди. С месяц-другой поживи здесь. Реши, куда тебе податься. Но хозяйку из себя не строй, не стать тебе истинной графиней Погожевой. Все. Боле мне нечего сказать.

С тем граф резко повернулся и зашагал к выходу. В сенях он велел подать лошадь, а вскочив в седло, пришпорил скакуна так, что тот рванул с места, и чуть было не поскольз-

нулся. Вгорячах Погожев не сразу и заметил, что под ногами гололед, хоть коньки надевай.

Умный конь сам замедлил ход свой, но все же продвигался так быстро, как только умел по этакой скользени. Да все же эта езда была более шагом, чем галопом. Графских растрепанных чувств она никак успокоить не могла. Однако и домой возвращаться теперь ему не хотелось. Слишком многое нужно было скинуть с плеч, слишком от многого избавиться. Не завернуть ли в кабак? Может и не помешало бы! Жаль, нет у него в Питере ни одного верного хорошего товарища. Вот бы поговорить с ним, так глядишь, и беда с буйной головы долой.

Кабак имелся где-то там, в конце Невской перспективы. Стало быть, ехать следовало по прямой. Погожеву не приходилось направлять понятливого жеребчика. Он уж и расслабился, запрокинул голову, подставляя пылающие щеки ледяному ветру и позволив себе предаться одному лишь созерцанию, дабы изгнать неприятные мысли.

Надобно сказать, что на ту пору уже вечерело, хоть и было всего часа четыре пополудни. Да ведь наши северные зимы известны как раз тем, что дня почти и не видно – лег спать темно, проснулся все темно, когда-когда увидишь бледный серый денек, чуть подкрашенный солнечным лучом, а так все сумерки. В сумерках созерцанию придаваться было не

легко, тем паче, что фонарей в то время в Питере не особенно много наблюдалось. На перспективе горели костры, возле которых грелась голытьба и всякий городской сброд, который поселился в этих краях еще в те поры, когда царь Петр сволакивал простой люд без чина и звания на строительство своего города. Оттого и название люди сии получили – сволочи.

В тот денек на перспективе обреталось оных куда как много, ведь время стояло студеное. Людишки эти все были отчаянные головы, в одиночку подле их мест гулять не могли. Оно конечно, ты их не трогаешь – и они спокойны, но коли проявишь высокомерие или еще какое неуважение окажешь, то уж пеняй на себя.

Погожев всегда сволочи денег подавал, коли просили, не скупился. Оттого они его не задирали, хоть трезв ехал, хоть пьян возвращался. А вот некоего господина, что в эту пору был окружен толпой недобро настроенной голытьбы, видно уж изрядно потрепали. Он, хоть и сидел еще на своей лошади, да был уж без шубы и так промерз, что, несмотря на свою явную храбрость, никак не мог дать достойный отпор лиходеям.

Подъехав поближе, граф услышал французские слова, слетавшие с окоченевших губ и еще какие-то совсем неумелые русские, которые и на слова-то не были похожи, а пуще на междометия. Вглядевшись получше, Погожев признал доброго своего приятеля графа де Сегюра, и тотчас же подъехал.

– Чего хотите-то, православные? – спросил он у народца, кивком здороваясь с графом.

– А мы вот мусью этому говорим, мол, нашей водочки изведай, так и сугреешься, а он все свое талдычит, пардон да пардон, – заговорил бойкий мужик с клочкастой бородой и в шапке ушанке, указывая на большую бутыль, что стояла в отдалении от костра. – Вот она водочка-то. Мы ему уж и стакан налили, а он, слышь, утирать его стал, точно мы черти какие нечестивые. Вот мы ему кресты-то показали, а он, смотри, теперь уж и совсем заиндевелый, поди еще и околет.

В толпе загыгыкали. Многие состроили гримасы, иные с любопытством смотрели на «околевающего» графа, иные сверлили глазами Погожева.

– Я-то вижу! – отозвался Алексей Васильевич, боковым зрением улавливая, что Сегюр, уж совсем синий в своем тонком шелковом камзоле. Сорвав с плеча шубу, он тотчас набросил ее на посланника. Сам же затребовал, – а ну дай стакан-то, чай не лето, не замерзнуть-бы.

Опорожнив махом полный стакан, поданный ему бродягой, дал на круг несколько монет и, взяв под уздцы жеребца де Сегюра, направил лошадей к дому.

Дома-то Алексей Васильевич все-таки уговорил француза испить водочки и, когда лицо у того порозовело, а язык стал послушным, Сегюр воскликнул, что благодарен Небу, неизменно посылающему ему в спасители именно Алексея

Васильевича.

Признаться, и Алексей Васильевич был благодарен Небу за то, что оно уж во второй раз послало ему Сегюра. Вот ведь стоило попросить, и откликнулось на его мечту, искал товарища, и товарищ перед ним, тут как тут.

Погожев велел накрыть стол побогаче и принести еще водки, а Сегюру сказал, что граф нынче его гость и он его никуда не отпустит. Сегюр и не сопротивлялся особенно, а только удивился, что не видит нигде прекрасной Стефании, как прозывал он Стешу. Неужели граф оставил такое сокровище в деревне? Погожев вздохнул, мрачно окинул взором столовую залу и, испросив у Сегюра клятву, что происшествие сие останется между ними, поведал французу о нынешнем своем бедствии.

Сегюр слушал с нескрываемым интересом.

— Ваша жена имеет темперамент, — раздумчиво проговорил он по окончании Погожевского повествования, — я сделал некоторые наблюдения и поделюсь с вами, если хотите. Большой темперамент в народе происходит от климата, в котором он живет. Он может происходить от сильной жары, в какой живут, например, мориски или от сильного холода, и этому достойный пример Россия.

Алексей Васильевич изумился основательности вывода. Но все же это не сбрасывало с его плеч заботы. Каким бы ни был у Прасковьи темперамент, жизнь с ней ничего хорошего не предвещала.

– Мне-то что делать? – обреченно вздохнул Погожев, разливая по рюмкам очередную порцию горячительного. – Ну, давай, граф, за здоровье.

Сегюр подумал немного, но рюмку все-таки взял, однако не опорожнил, а выпил лишь половину. Алексей Васильевич отнесся к сему снисходительно. Сам же опрокинул водочку одним глотком и замер в ожидании приятного тепла. Что и говорить, без шубы-то и он промерз, до сей поры мурашки по спине бегают.

Сегюр невольно морщился. Водка ему была горька с непривычки. Алексей Васильевич подвинул к французу грибков соленых, да капусты. Попробуй, мол, заешь. После водки грибки да капуста первое дело. Сегюр нерешительно потянулся к миске с грибами. Алексей Васильевич показательно ткнул вилкой в румяную шляпку рыжика, поднес ко рту и положил на язык. Глаза закрыл удовлетворенно. А как открыл, то увидел, что и Сегюр вроде тоже доволен, и жует что-то. Ну, стало быть, можно продолжать разговор.

– Мне ведь видеть ее уж и то не в радость, а о прочем нечего и говорить.

Сегюр, прожевав, откинулся на спинку кресла и по блеску его глаз, Погожев понял, что тот уж немного пьян.

– Я не совсем понимаю вас, граф, – начал посланник, ставя локоть на бархатный подлокотник и кладя ногу на ногу, – графиня красива и довольно умна. Кроме прочего, она обладает такими формами м-м-м...

– Вот я, неразумный, на них и попался, – вздохнул Погожев, – если б не эти То жил бы сейчас совсем иначе.

Посланник, хоть и был немного во хмелю, сразу понял, о чем шла речь, но, прежде чем ответить, посмотрел на Погожева с большим вниманием. Потом осторожно поинтересовался:

– Вы, граф, действительно так сожалеете о своей участи?

– Да как же иначе?

– Мне это странно слышать. Ведь я писал вам перед самыми Рождественскими праздниками, что рассказал ее императорскому величеству о театре вашем, о котором осталось у меня самое наилучшее впечатление, и императрица пожелала немедленно вызвать вас ко двору, чтобы вы дали представление в Новый год. Неужели письма сего вы не получили?

– Вот, значит, как, – Погожев пригладил волосы на затылке, – а я-то все думал, чего вдруг такая перемена.

Вздыхая и закусывая губы, Алексей Васильевич пересказал Сегюру всю историю с письмами. Покраснел, когда сказал, что Сегюрова письма даже и не видел. Оно небось так и лежит в неразобранной горке у него на столе в барском доме в сельце Погожем. Глупо повел себя Алексей Васильевич, неаккуратно и вовсе не по-европейски. Посланник имел право осудить. Но тот лишь рассмеялся.

– С вами, русскими, никогда не знаешь, чего ожидать! Право, мне очень нравится ваш национальный характер!

Что-то в вас во всех есть истинное! Пожалуй, граф, налейте нам еще по рюмке. Мы выпьем за эти ваши чудачества и за то, чтобы боги удачи помогли нам поправить дело.

– А можно поправить? – с надеждой поинтересовался Погожев, разливая напиток.

– Несомненно! – воскликнул граф и продолжил уж после того, как поставил пустую рюмку на стол, а на языке у него податливо треснула и разлилась спелым соком клюква, положенная в рот вместе с квашеной капустой, – я теперь в милости у ее величества. Сущяя безделица, казалось бы, но.... Ее величество оценила.

Алексей Васильевич замер в ожидании. А граф Сегюр, отдав дань капусте, вдруг потянулся к студню и, положив кусочек к себе на тарелку, понюхал, слегка наклонившись, поднял бровь и принялся отрезать ножом малую толику, дабы ее сподручно было подцепить вилкой. Попробовал, хмыкнул и продолжил есть.

– Так что ж вы сделали? – нетерпеливо спросил Погожев, у которого вдруг пропал аппетит от волнения.

– О, мой друг! Это печальная история. Но дело прошлое. Я всего лишь написал эпитафию на смерть прелестной Земиры, которую ее величество сочла удачной, и даже велела начертать на надгробии сей особы.

– Это какой еще Земиры?

– Неужели вы не помните! Это собачка. Левретка. Леди Земира, если мне память не изменяет, – дочь не менее воз-

душного существа леди Дюшесы. Прелестное было создание. В начале зимы она преставилась, так ее величество сильно горевала, и тогда я преподнес ей эпитафию. Она посчитала ее любопытной и довольно скоро утешилась. Зато я теперь в милости.

Алексей Васильевич вздохнул. Этакой Сегюровской легкости, свойственной, впрочем, многим французам, в нем отродясь не было. Все-то он себя пилил, мучил, не знал, как подступиться к тому или к этому, а вот француз, р-раз, и в дамки! Каков!

– Не вздыхайте, граф, – дружески проговорил Сегюр, – поверьте, вашему горю вполне можно помочь. Расположение к вам императрицы вернется. Слышал, скоро у вас большие праздники. Русский карнавал. Как это? Масселиса...

– Масленица!

– Кажется так. Мне говорили, что это сплошное веселье. Балы, скачки, спектакли. Подготовьте несколько своих прекрасных представлений. Надеюсь, вы привезли с собой свой театр?

– Обозом тянется.

– Так вам главное поспеть. Я же сделаю, что смогу. Поверьте, ее величество примет ваше приглашение, ну а дальше, вам и карты в руки!

Нельзя сказать, чтоб Алексей Васильевич был уж очень

легковерен, и на то, что Сегюру удастся изменить мнение императрицы, он не очень-то уповал, разве только преставится еще какая левретка, и француз снова напишет изысканную эпитафию. Но всякое могло быть. Сегюровы легкость, обаяние и живость ума вполне могли сделать свое дело. Пожалуй, стоило положиться на судьбу, принявшую французово обличье и постараться не упустить последнюю возможность исправить положение. Дело было только за театром, который он ждал со дня на день и уж весь извелся, когда, наконец, получил весточку от передового обоза – мол, завтра въедет театральный поезд в славный город Питер.

Тем же вечером, а у Судьбы все так – то она тебя не замечает, то засыпает известиями, Сегюр явился к нему прямо с бала и, дружески пожав руку, обрадовал:

– Говорил нынче о вас с ее величеством. Мне показалось, что она к вам благосклонна, хотя, право, немного дуется из-за того, что вас не было на Рождество. Мне пришлось дать объяснения.

– Что же вы сказали?

– Правду, мой друг.

– К-как же так?

Алексей Васильевич замер от ужаса. Сегюр, взглянув на него, тотчас сжалился.

– Поверьте, друг мой, правда в подобных случаях лучше всего. Ну, как вы сказались бы больным, так по этому поводу немедленно должна была бы последовать отписка, а ее не

было. Стало быть, вы невнимательны как подданный, а как обыватель обладаете плохой манерой не отвечать на письма. Это для вас не лучшая характеристика.

– Но я думал свалить все на почту.

Сегюр наклонил голову и скосил взгляд куда-то в угол.

– Вы молоды. Я несколько старше, поэтому позволю себе совет. Никогда не говорите монарху, что в его государстве что-то не так и плохо работает. Пострадают люди и возненавидят вас. Выгоды от этого не будет вам никакой. В следующий раз свинью подложат, и вам уж точно несдобровать.

Алексей Васильевич слушал мудрые наставления с открытой душой, но, вместе с тем, ощущал, что от них ему становится только хуже. Он почти почувствовал, как на шее его затягивается веревка, а из-под ног вышибают подставку. Граф без труда угадал его мысли и тут поднял холеный палец вверх, отчего белый кружевной манжет эффектно возлег на темно-синем бархате рукава.

– Теперь рассмотрим ваш случай. Вы не вскрывали писем целый месяц. Но отчего? Первое – оттого, что безмерно страдали от разрыва с той, о которой грезили, вам было все равно, даже если весь мир полетит в тартарары. Второе – оттого, что пытались забыться, и всецело отдались трудам праведным, неусыпно занимались театром, надеясь плоды усердия своего некогда представить предмету страсти. И, наконец, третье – не желали ничего слышать о ненавистной женщине, которая была виной всем вашим несчастьям.

– Граф, – потрясенно воскликнул Погожев, – но ведь это именно так и было!

– Не сомневаюсь, друг мой! То состояние, в котором я застал вас в деревне, очень красноречиво указывало на все вышесказанное.

– И вы все это донесли ее величеству?

– Не скажу, что все. Ведь о вас, друг мой, можно написать целую поэму, но в общих чертах я ей поведал все, что успел.

– Стало быть, она больше не гневается?

– Ну... Трудно себе представить, чтобы она открыто сказала нечто подобное. Разумеется, нет. Главное ведь тут совсем иное. Она слушала. Если б она о вас знать ничего не хотела, то тотчас бы переменила тему. Учтите, что при ней, как и всегда, был этот несносный человек.

– Потемкин?

– Когда вышла государыня, он тотчас припал к ее руке, но вовсе не для того, чтобы поцеловать, а лишь из любопытства, надела ли она какой-то там перстень, который он положил для нее в Ящик Амура. Держу пари, в его кармане всегда есть ключ от ее спальни.

– Ну, вообще-то говорят....

– Не продолжайте! Сие положение имеет толкование скорее политическое, ибо перед вами посланник. Посему, лучше молчите. Скажите лучше, когда вы ждете театр?

– Уже завтра.

– Так поговорим лучше о нем. Что вы собираетесь пред-

ставлять?

— Я думал, может какую пьесу самой государыни.

— Возможно, — раздумчиво протянул граф. — Я почти за честь быть в сем деле вам советчиком и сам еще подумаю над тем.

— Если б вы знали, как я вам признателен!

— Не торопитесь, друг мой, это все еще впереди, — Сегюр собрался уходить, но на полпути к дверям вдруг остановился и, по-обыкновению, снова поднял палец вверх. — Ящик Амура, кстати, совсем неплохое название для вашего представления. Образованным дамам всегда нравится что-то эдакое в античном стиле. А уж мужчины будут вдвойне вам благодарны, если вы оденете хорошеньких актрис древними гречанками или римлянками. Благоприятные отзывы, по крайней мере, я вам гарантирую.

Улыбаясь и пожимая дружески протянутую Сегюром руку, Алексей Васильевич вдруг почувствовал легкий укол совести. Совсем небольшой укол совести, но этого достало, чтобы Погожевское рукопожатие вдруг совсем ослабло, хотя руку он у Сегюра не отнял, а так и стоял с протянутой правой, левую же возвел ко лбу и стукнул по нему кулаком.

Он вспомнил вдруг Вареньку. Морозный день. Они стояли возле двери ювелирной мастерской Функа и разговаривали о совсем ничего не значащих вещах. Он нес околесицу в надежде задержать ее хотя б еще на минуту. Она что-то ему передала.

– Ящик Амура, – простонал граф Погожев, чем вызвал благосклонный взгляд графа Сегюра.

– Вижу, мой друг, вы уцепились за эту идею.

– Не в том дело, граф! Вернее, идея превосходная, но я кое-что забыл. Если б вы могли оказать мне одну услугу....

– Для вас все что угодно, друг мой.

– Так вот. Я сейчас все расскажу вам. Этот Ящик Амура он ведь у меня. Мне дала его одна особа.

Сегюр был озадачен.

– Ящик Амура самой государыни?

–Боже сохрани, граф! Это игра такая. Я вас посвящу, – и Погожев рассказал, что скрывается за сим интригующим сочетанием слов.

– Угу, – задумался Сегюр, – но я чем могу помочь?

– Я просто передам вам сию вещицу, чтобы вы могли пустить ее дальше. Мне пока не надлежит показываться при дворе, а задерживать надолго сей посланец я не должен. Вы на свое усмотрение распорядитесь им и, если хотите, так ничего можете не класть.

– Ну, отчего же! Идея мне нравится. Я положу в него дешифровку писем некоторых англичан из торговой компании, думаю это подношение будет небезынтересно государыне.

– Вы шутник граф. Ну, беретесь?

– Я ведь уж сказал, что готов это сделать для вас, да мне, признаться, и самому любопытно.

«Не иначе, есть кто-то у графа Сегюра на сердце», - подумал Алексей Васильевич, бросаясь вверх по лестнице в свою спальню. Посланец стоял возле зеркала, кажется на том же месте, где и был оставлен несколько дней назад. Погожев даже не удосужился его открыть, надо хоть теперь это сделать.

Перстень Потемкина светлым пятном выделялся в коварной полутьме ларчика, но и он не смог заслонить собой того, что граф увидел. Не мечтал, а увидел. Подумал, что ошибается, но потом снова вспомнил и узрел, точно наяву, сноп бриллиантовых искорок на высокой Варенькиной груди.

Она тогда подошла к нему поближе, и он хорошо рассмотрел этот медальон. Но ему ли он предназначался? Не может быть, чтобы у такой красавицы до сей поры не было кавалера. Болтали что-то про князя Комарицкого, припомнилось тут, но Погожев, как не напрягался, не мог представить себе этого шута горохового с аршином пудры на физиономии рядом с Варенькой – свежей, искренней, и чуть смугловатой.

А вот уж дудки! Не получит он Вареньку. Не получит никогда! И Варвара не зря положила этот медальон в коробочку прямо тогда у ювелира, не заранее, нет, именно тогда. А прежде, как раз перед тем, подошла к нему, чтобы он смог ее как следует рассмотреть. Да только верить ли такому счастью? Чай, не безмозглая она девица, чтобы связаться с ним? Кто он? Опальный, жена на шее пудовым камнем повисла. Но ведь Варвара все это знала. Знала и подошла, а потом положила в коробочку медальон.

Граф казался себе вором, когда вынимал драгоценность из ларчика. Руки его дрожали, пальцы не хотели слушаться, но он все-таки взял медальон. Взял и прижал к губам, уверенный, что никогда с ним боле не расстанется.

Глава четвертая. Печальная Венера

В эти несколько месяцев, что прошли со дня смерти генерала Ланского, Екатерина Алексеевна чувствовала себя как никогда одинокой и усталой. Не было такого ранее, чтобы нарушала она свой привычный режим, чтобы откладывала дела на потом. Но когда умер Ланской, случилось и это. Хотя и ненадолго она позволила взять верх слабости. Быстро собрала волю в кулак, и зажила прежней жизнью.

В шесть часов утра у нее всегда был подъем, сразу после подъема кофий со сливками и печеньем. Далее работа с секретарями, просмотр бумаг, писем, депеш. Потом легкий завтрак, прогулка, прием просителей. Сызнова секретари, бумаги, проекты, реляции. Она во все входила, в каждую мелочь. С каждым говорила заинтересованно, давая понять, что она ценит рвение, но и провести себя не даст.

Деньги. Всем были нужны деньги. Всем хотелось побыстрее и побольше нахватать, а казна и так не в лучшем состоянии. Один лишь человек за всю ее жизнь был по-настоящему сердечен и бескорыстен, Саша Ланской. Один он разделял все ее тревоги и заботы, не требуя и не желая ничего себе, не запуская лапу в государственные финансы и не встревая ни в какие интриги. Всегда говорил, что награда ему она сама, Екатерина. Вот оттого она и тужила по его ясным глазам и

доброй искренней душе. Крепкое ладное тело, что ж, поведи она только взором, и к ногам ее бросится любой, кого б она не захотела. Бросится, но не будет предан ни телом, ни душой. Так уже было не раз. Орлов, Потемкин, Корсаков. Все они оказались не в пример Сашеньке вероломны. А так хотелось верить. Так хотелось!

И вот однажды ей показалось, что она снова может быть счастливой. Снова будет желанной и единственной. Снова почувствует себя только женщиной, а не источником, что питает небеса, проливающие золотой дождь над фаворитами. Тогда на куртаге она увидела глаза графа Погожева, и ей вдруг на минуту показалось, что перед ней ее Сашенька, ладный, веселый, влюбленный. И взгляд был совершенно Сашин. О, этот взгляд! Он весьма красноречиво говорил, что кавалер не упустит случая обнять желанную даму. Покрыть поцелуями ее лицо, шею и декольте. Вот только бы остаться наедине...

Тогда она поверила сему взгляду, расслабилась в жарких объятиях, позволила себе думать, что опять вдруг вернулась к ней молодость, резвость и прежний любовный пыл, что так привлекал поклонников. Да и как не расслабиться, как не поверить, когда страсть молодого графа пылала с таким жаром, который нельзя изобразить, не чувствуя расположения и не ощущая горячего желания владеть именно ею, а не какой-то иной дамой. А вот, поди ж ты, оказалось, можно было все изобразить, – и страсть, и томление, и нежность, – лелея

в сердце совсем другой предмет обожания.

Когда Марья Саввишна рассказала про роман Погожева с Прасковьей Вертуновской, Екатерина немедленно велела призвать сию деву и взглядом ревнивым вцепилась в ее лицо, придиричиво оглядела фигуру, точно в первый раз видела. И осталась недовольна. Государыне показалось, что Создателя, одарившего Прасковью столь щедро, упрекнуть не в чем. Ничего он не забыл дать ей, всего было отпущено вдоволь и полные округлые формы были у Прасковьи, и белая румяная кожа, и любовный темперамент, о котором Екатерина судила по взору, быстрому, жгучему, но вместе стыдливому.

Невольно императрица перевела взгляд на свое отражение в зеркале и, сердце покатилося в пятки. Еще утром смотрела она на себя, и казалась все той же юной девицей, только что соскочившей с норовистой лошадки, унесшей ее далеко в поля, и, к неудовольствию тетушки Елисаветы Петровны, покрывшейся смуглым румянцем от солнца и быстрой скачки. Но вот уж теперь, видя контраст с Прасковьей, она вдруг ощутила на себе груз всех пятидесяти пяти лет, и поняла, нет, не могла быть страсть графа истинной, огонь его пылал не для нее, для другой. Другую воображал он в объятиях своих, когда ласкал ее и шептал нежные слова. Ну так что ж, пусть ее и получит.

Ожив и отправив от двора графа Погожева, императрица быстро забыла о нем и все грустила о Сашеньке, как вдруг ей о графе напомнили. И самым неожиданным образом. Да

и кто? Сегюр! Граф де Сегюр, который приехал в Россию, склонить императрицу на союз с Францией.

Правду сказать, Екатерина не любила, когда в ее дела вмешивались, и миссия Сегюра была ей понятна еще до его приезда. Отговорить императрицу от дальнейшего продвижения на юг и убедить не трепать границ Блистательной Порты, – вот для чего ехал он в Петербург. Но Екатерина была тверда в своих намерениях и планах, потому Сегюра особенно слушать не собиралась, хотя и приняла со всеми причитающимися почестями.

Он же, к чести сказать, не спешил интриговать, но ворвался вихрем в светскую жизнь Петербурга, закрутил множество романов и живо заинтересовался русской стариной. Таков уж он был, граф де Сегюр – любознательный путешественник, увлекающаяся натура, дамский угодник, гурман, поэт, словом, человек, жадный до удовольствий жизни, хотя, конечно, вольнодумец.

Поговорив с ним полчаса, императрица уверилась, что граф несколько не скрывает своих взглядов, довольно опасных и неуместных. Однако Екатерину это не слишком пугало, ибо совершенно никак не уживались всякие новомодные вольнодумства с русским национальным духом. Хотя, впрочем, некоторые могли и на пользу пойти.

Уж слишком мало ценили русские сами себя. Человеческое достоинство было для многих пустым звуком. Иные вообще не видели в простом человеке личности. Хотя, что в про-

стом! Дворянин, забыв о чести, воровал, драл крепостных, бездельничал, вместо того чтобы выполнять высокую возложенную на него Богом миссию провещать, блюсти своих людей, приучать их к культуре, внушать доброе, и служить примером честной жизни.

И каково ж было удивление государыни, когда услышала она восторженные слова Сегюра о графе Погожеве, который в имении своем, что в ста пятидесяти верстах от стольного города Питера, завел такой удивительный театр, какового некоторые идеи и придумки, с готовностью воспринял бы любой парижский или итальянский. Выслушав Сегюра, Екатерина испытала нечто похожее на гордость. Меценат, просветитель, образователь своих крепостных граф Погожев, стал вдруг для нее на одну планку с Руссо, которого она хоть и не любила, но идеями коего питалась, разрабатывая свою линию в воспитании внуков.

Тотчас после ухода посланника, она повелела Безбородко писать Погожеву в деревню письмо, где о милостивом прощении и речи не будет, но будет приказ вернуться в Петербург для представления спектаклей, что само собой подразумевало и милостивое прощение. Однако граф не явился. Это сильно ее раздосадовало, хоть она того не показала. Отчасти из-за того, что тут было задето ее женское самолюбие, отчасти из-за удивления, что граф нашел возможным перечить ее воле – это было ей странно и непривычно и поселило в голове мысль, уж не был ли и граф Погожев таким вольно-

думцем, на французский манер. Тогда уж, Бог с ним, пусть и вовсе не едет.

И вот, когда она о нем вдругорядь позабыла, он вдруг явился. Не каялся, ни о чем не просил, не бросал на нее испепеляющих взглядов, а все же пришел на куртаг лишь ради нее, она это хорошо поняла, потому что ни на кого другого он не смотрел, по прочим дамам и взглядом не скользнул, но стоял в стороне и все ждал, когда она позовет, а не дождавшись ее призыва, ушел и больше не показывался при дворе.

Невольно она отметила сколь любопытно для нее его поведение. И где-то в глубине сознания мелькнула у нее мысль, а может в ее жизни зарождается новый, наверное, уже последний роман. Однако мысль эту она быстро отбросила, два раза в одну воду не войдешь. Да и Светлейший уж кого-то ей нашел и, кажется, собирается представить тот же час, как только она сочтет возможным прекратить траурный пост в своей личной жизни.

Екатерина Алексеевна и не заметила, как мысли ее приобрели иное русло. Теперича они были о Потемкине, который уж скоро должен был прийти. Впрочем, Светлейший, бывало, что и опаздывал, не являлся в оговоренный час, иногда и совсем не приходил, зато в другой раз мог прийти внезапно, когда она и не ждала. Все позволялось ее ближнему другу, дорогому воспитаннику, как она его сама называла, советнику, как считала подвластная ей страна.

Она знала, о чем говорят у нее за спиной, но в ее сильной

независимой натуре ничьи досужие домыслы о сем предмете не вызывали ни малейшего протеста, ибо они касались Потемкина, а то человек особенный. Он умен, силен и отважен. У него деловая хватка, а своим натиском он способен опрокинуть сопротивление любого существа, будь то человек или дьявол. Он и ее умел во многом убедить. Во многом, но не во всем.

Не понимала и не принимала она его любовных связей с племянницами. Уж слишком цинично попирал Светлейший устои христианской морали. Было в сих связях что-то порочащее, вредное и грязное. Может быть из-за них, из-за этих связей она и отказалась тайно венчаться с ним. Отказалась, и, как показало время, была права.

Светлейший всегда был большим охотником до женского полу, а уж с течением времени и вовсе превратился в невожатого сластолюбца – без всякого сокрытия везде и всюду возил целый гарем прекрасных женщин, как дворянок, среди которых были и дочери весьма известных фамилий, так и девиц малопонятного происхождения. Тут были и бессарабки, и турчанки, и волошанки, привезенные им из южных походов. Были и крепостные девки из смоленских имений и Малороссии, да и, Бог знает, может даже цыганки какие-нибудь были, это не вызвало бы ни у кого удивления.

Однако Екатерина все ему спускала. Где большой человек, там и большой размах. Во всем. Во всем Потемкин был ненасытен – в еде, в постельных радостях, в тратах, в жела-

нии обладать всем, что только есть на свете дорогого, красивого, важного и необычного.

Дочери сестры его, девицы Энгельгардт стали одна за другой подрастать как раз в самую пору, когда он вошел при ее дворе в силу. К тому времени они осиротели, и Потемкин взял их в Петербург, в свой дом. Одну за другой вывел в свет, обеспечил, дал хорошее приданое и выдал замуж. Но прежде каждая стала его наложницей.

Екатерина хорошо помнила всех их, и, услышав новую сплетню, каждый раз удивлялась, с какой покорностью девицы Энгельгардт соглашались на подобное. Однако, лишь взглянув на Григория Александровича, некогда и ей сердешного друга, понимала, что вовсе сие не изъявление покорности, но искренние суть чувства ведут к сему несправедливому сожительству. Нет и не будет в свете такого удивительного молодца с подобной выправкой, разумом во взоре, с таковою живостью и силой в движениях.

Племянницы молились на него как на Бога, обожали безгранично и готовы были для него на все, что и не удивительно. Это он вывел их из глуши и безвестности, сделал их светскими, богатыми, желанными в любом доме, принятыми в кружке самых знатных и блестящих дам России. С возвышением Потемкина сразу четыре золушки Энгельгардт стали прекрасными принцессами, партии для которых выбрал сам дядюшка. Варвара, именуемая дядей "Варенька Сладкие губки", отдана была за князя Голицына, Татьяна за кня-

зя Юсупова. Когда же подошло время Александры, то тут уж сыграли роль интересы российской короны в Польше, и племянница Светлейшего была предложена самому канцлеру Браницкому. Тот не отказался от золотой невесты, за которой было дано столько, что и сам король не отказался бы.

Санечка была самой верной его обожательницей и каждую зиму проводила с дядюшкой в Петербурге. Явилась она в Петербург и теперь, когда самую младшую флегматичную красавицу Екатерину дядюшка наконец-таки отпустил к мужу графу Скавронскому, тосковавшему по законной половине в Венеции, куда был назначен посланником.

Потемкин всегда был рад племяннице. Приставлял к ней попечителем какого-нибудь из своих секретарей, а иногда возил с собой к императрице. Екатерина Алексеевна и теперь бы не удивилась, войди он к ней со своей любимой Санечкой. Впрочем, Санечку Екатерина Алексеевна и сама жаловала больше, чем других. Оттого что видела, как этой провинциальной девушке, разумной, но все-таки робкой, трудно даются первые шаги в высшем свете. Глядя на нее, она не раз вспоминала маленькую Фике, из захолустья крошечного Цербста, попавшую в самый центр пышного, развращенного и лицемерного двора. Тогда ей тоже было трудно, куда труднее, чем Санечке, за каждым шагом которой следил добрый, хоть и деспотичный дядя.

И все же она отличалась от сестер. Варвара и Татьяна, попав в большие старинные семейства, порвали порочную

связь навсегда, Катерина отдавалась дяде по недалекости, да еще из боязни обидеть. И лишь Александра любила этого человека истинно и страстно, признавая все его достоинства и прощая все недостатки. Она сама обладала развитым умом и обостренной чувственностью, которую не скрывала, считая, что ей в ее положении уж нечего скрываться. Она не была лицемеркой, и может быть как раз это так нравилось в ней Екатерине.

Иные болтуны поговаривали, что Санечка ее, Екатерины Алексеевны дочь, подмененная некогда Павлом. Императрица на сию чушь рукой махнула, даже и пресекать подобные несостоятельные слухи не велела. Основаны-то лишь на том, что Александра и Павел одноклассники, да на всегдашней радости, с которой Екатерина Алексеевна встречала Санечку.

Радость эта была не случайной, Александра всегда умудрялась разрядить напряжение, которое вдруг возникало в ее разговорах со Светлейшим, забиравшим себе все более воли. Оттого вовсе не плохо было бы, если б и сейчас он привез с собой племянницу. Екатерина вздохнула, еще раз просмотрела бумаги, о которых собиралась говорить, разложила их по порядку на своем рабочем столе и тут услышала стук каблуков за дверью. Прислушалась. Один пришел. Ну что ж, разговор будет не из легких.

***.

– Что опоздал, князь Григорий Александрович? – спросила она, повернувшись вполоборота, отчего ее профиль в

свете ярко пылающих свечей отчетливо высветился на фоне темной бархатной портьеры.

Виновные, бывало, трепетали, коли она становилась таковою. Потемкин ничуть не смутился. Он был столь возбужден, что казалось не уловил настроения императрицы.

– Ты, чай, не слыхала еще, государыня, анекдотец-то наш последний? – бодро осведомился он.

Екатерина все знала, но сделала вид, что ничего не слышала.

– Так, стало быть, будет мне, чем тебя позабавить, – продолжил Потемкин тем же тоном, подходя к повелительнице и прикладываясь к ручке.

Она величаво кивнула, давая понять, что вполне готова слушать.

– Помнишь ли ту актрисулю французскую, что на днях была посажена под арест в Дирекции театров?

– Ту, что Степан Стрекалов в чем-то заподозрил?

– Ее. Так вот, ваше императорское величество, что хоть Стрекалов и бездельник каких поискать, да не без дела мадемуазельку эту стал подозревать. Исподволь выпрошенные моими людьми лица, что посещали сию злокозненную девку, а ты ведь знаешь, какой это все народ – иные из них сенаторы, иные вхожи в Кабинет и при дворе свои люди. Так вот, все опрошенные подтверждают, что мадемуазелька не раз выпытывала у них про твое, матушка, житье-бытье и про твои взгляды на обзаведение новым сердечным друж-

ком. Также де интересовалась она, нет ли уже такового на примете и ежели есть, то кто он и из каковых будет. А, что скажешь?

– Шпионка, – кратко ответила государыня, которой выслушивать подобное было не впервой. – Господин де Верженн все никак не успокоится, видя нашу дружбу с императором и то, как ты, Светлейший, осуществляешь давно задуманное нами. Но потуги его подобны ударам утиных крыльев по воде – одни круги от них, а взлету не получается.

– Вот тут уж ты, Екатерина Алексеевна, весьма верно подметила, – захохотал Григорий Александрович, – круги так круги! Вот я сейчас поведаю. Стало быть, как Стрекалов и хотел, заперли мадемуазель Монтваль в дирекции. Да допросить ее не поспешили, оттого что время было позднее, а ради нее поднимать никого не стали. А все из-за того, что не очень-то верили, что сия незначительная певичка может причинить сколь-нибудь существенный вред. Да вот тут мы просчитались. Той же ночью чуть было не улетела пташка-то. Господа французы сумели снести с ней и сообщили, что подготовили все для побега. И так славно все спроворили, что часовой, что приставлен был к ее дверям, решительно ничего не заметил. Девушка вылезла из окна и прыгнула в экипаж. Только уж тут, услышав стук копыт о мостовую, часовой спохватился и засвистел. Да все было бы уже напрасно, если бы не было стянуто к месту наших сил.

– Стало быть, мы были готовы к демаршам французов?

– Предупреждены, ваше величество, предупреждены.

– Кем же?

– А вот кем, тут и есть главный анекдот. В дом князя Вяземского той ночью нанес визит странный незнакомец. Лица его и фигуры никто не видел, так как оные скрывал плащ, и лишь по одной вещи его смог бы приметить всякий. На руке у него был один известный тебе, государыня, перстень с большим брильянтом и монограммами. Человек так и не снял плаща и не прошел дальше сеней, хотя ему предложили, но дождавшись прихода князя Александра Алексеевича, отдал ему записку, в коей говорилось о предстоящем побеге, откланялся и ушел, не дожидаясь ответа.

– Возможно он не скрывался, а лишь торопился? – предположила императрица.

– Возможно, – согласился Светлейший. – Если бы скрывался, не надел бы такое приметное кольцо. Но это кольцо всякий мог узнать, а уж Вяземскому-то оно хорошо известно, и он не мог ошибиться...

– Ошибиться в чем?

– А вот в чем, государыня, кольцо это принадлежит мне, и я долго его нашивал, да надоело, вот и пустил его в тот Ящичек, что ходит по кругу, ну ты знаешь эту забаву...

– Посланец? Неужто в него еще играют? Вот глупая затея. Кому она только в голову пришла?

– А мне, признаться, она любопытна. Интересно посмотреть, сколь далеко зайдет алчность людская. Я, видишь ли,

государыня, бывает положу туда брильянт поболее и все гляжу, где же он явится, а то и у ювелиров осведомлюсь, не приносили ль им в переделку эдакое кольцо или еще что иное. А коли вдруг ответят, приносил, мол, такой-то, так и знаю, с этим дела иметь не стоит, вор.

Екатерина Алексеевна грустно рассмеялась.

– Забавляешься ты с людьми, аки кот с мышами.

– А чего мне не позабавиться? Иного то я и так насквозь вижу, а вот иной загадка, а все ж интересна природа сей загадки.

– К чему ведешь? – воззрилась на светлейшего императрица.

Потемкин загадочно улыбнулся.

– Раздумываю о посланнике нынешнем французском.

– Да уж не тяни, Григорий Александрович. Хочешь сказать, что граф де Сегюр причастен к побегу, так и скажи.

– А вот и не могу сказать сего. – Светлейший развел руками. – Предполагал, а не могу. Все следы сего происшествия ведут к секретарю посольства Дюпре, назначенному задолго до графа Сегюра. Но... С трудом верится, чтоб означенный граф ничего о действиях сего секретаря не знал. Впрочем, ведь не каждый вхож в секрет короля Людовика и Сегюр, как доносит из Парижа Архип Иваныч Морков, куда дальше от сего славного тайного объединения, чем господин Дюпре, коего, матушка, я уж дал распоряжение выслать.

Императрица нахмурилась. Он снова все решал за нее.

Впрочем, он знал, что она поступила бы точно также.

– Сегюра я бы не трогал, – рассуждал между тем Григорий Александрович, – личность занятная. За ним бы понаблюдать, да держать бы его поближе, на глазах. Да, за этим, я думаю, государыня, дело не станет. Он забавен и хорошо тебя развлекает.

Екатерина насупилась, краска прилила к щекам ее. С чего это он решил, что ее удел теперь одни только развлечения? Однако она отогнала гнев с и спросила весьма спокойным голосом:

– Что дал допрос Дюпре?

– То, что и ожидали. Французская корона заинтересована в дружбе с человеком, который будет у тебя в фаворе. Верженн велел такого человека обхаживать и побуждать останавливать греческий проект поелику возможно. Но и более того скажу, ваше императорское величество, Дюпре говорит, что у французов есть де свой человек, который славным амантом тебе может стать, и они де всячески постараются навязать его тебе в сердечные друзья.

– Что ж они себе возомнили! – воскликнула императрица, чувствуя, как горячая волна негодования подступает к самому сердцу. – Сделать меня своей игрушкой! Так ведь и до полного разрыва недалеко! Надобно немедля меры принять.

– Так выслать Сегюра?

Екатерина задумалась.

– Нет, не выслать.... Напротив, сделать своим человеком!

– Вот и верно, матушка, – обрадовался Потемкин, – я от тебя иного и не ожидал! Да и то сказать, другого пришлют, так каков он еще будет, а к этому у нас уже и тайный ключик имеется. Вот и поглядим чья возьмет.

Екатерина внимательно взгляделась в давно знакомое лицо. Знала она этого человека уж несчетное число лет, и уж вот годов десять, как знала ближе некуда. Видела всяким. И апатичным, погруженным в меланхолию, сутками лежащим на диване в старом изодранном халате. И взрывным, жаждущим деятельности, готовым свернуть горы. И оживленным, острым на язык. И даже раздумчивым, склоненным над картами и депешами, отдающим точные разумные приказы. И вот таким как теперь – азартным, могущим проникнуть во все тайны мира, завязать сотни интриг и втянуть в них десятки людей и целые государства.

Он один при ее дворе был так деятелен и умен. Он один был ей истинным помощником и настоящим другом. Ему одному доверяла по-настоящему.

Государыня улыбнулась и не стала дальше расспрашивать. Сказала только, что хитер, он, Григорий Александрович, и думала уж отпустить с миром, но тут вошел ее камердинер Захар Зотов, сменивший на этом посту Шкурина, совсем еще недавно огорчившего свою повелительницу переселением в лучший мир, и доложил о приходе графини Браницкой. Государыня, утвердительно кивнула и посмотрела на Потемкина, отмечая про себя, что весь он как-то подобрался, при-

осанился и глаза его засветились по-особенному.

Александра ворвалась вихрем. И вместо того, чтобы при-
сесть в глубоком реверансе, подлетела к государыне и, опу-
стившись на колени, поцеловала ей руку. Екатерина Алексе-
евна милостиво потрепала графиню по щеке.

– Все хорошеешь, Александра Васильевна. Что не была к
праздникам?

– Ах, государыня, душа моя рвалась в Петербург, да при-
болел младший сын, и мне пришлось остаться при нем.

– Встань-ка! Я на тебя полюбуюсь.

Браницкая легко поднялась на резвые ножки и показалась
во всей красе.

– Новый туалет у тебя, еще не привычный. Что в Париже
нынче вовсе фижмы не носят?

– А это не парижская мода. Сей из Англии фасон. Там те-
перь все более склоняются к античным временам и в моде
совсем простое и свободное платье. Это словно в пику фран-
цузам.

– Да ведь и то верно, – оживился вдруг Потемкин, плюха-
ясь в кресло и оглядывая свой камзол, – уж чего только на
персону не наверхено. Да и туфли с пряжками... Для стат-
ского все неплохо, а для военного человека далеко не так хо-
рошо.

– Да мы, дядюшка, боле о женских модах печемся, – дер-
нула плечиком Санечка.

– Да хоть бы и о женских, – не смутился князь, – на иной

столько тряпок, что и до сути не доберешься. Впрочем, все это еще цветики по сравнению с тем, что королевка-то их французская удумала. Слыхали поди сколь времени куафер над ней колдует?

– О!– воскликнула императрица, – недавно граф де Сегюр рассказал мне, что каждую неделю делают ей прическу и иногда времени это занимает до шести часов кряду.

– Вот и верно! – Браницкая раскраснелась, так как тема эта была ей близка и понятна, не в пример разным политическим, которым отдавали предпочтение императрица и дядюшка, – Однажды в Варшаве видела я парижский журнал «Курьер де ла мод». Там были нарисованы прически их государыни и уж такие они были потешные – то корабль на голове, то башня, а то еще какая сценка из жизни. А еще говорят, королева переодевается трижды в день и никогда не повторяет платьев.

Екатерина звонко рассмеялась.

– С ней, пожалуй, вполне могла соперничать наша тетушка Елисавета Петровна.

– Но платья вашей тетушки, матушка государыня, не столь вычурны, как видела я в том журнале. Ах, я решительно отказываюсь такое носить! Мне куда ближе новая английская мода. В жару много легче, да и верхом ездить удобно.

– Вот и я по-стариковски простые фасоны одобряю, – вздохнула Екатерина, – Ежели бы жив был прадед наш великий царь Петр, то я бы уж рассказала ему, сколь удобна рус-

ская национальная одежда для дам моего возраста, и просила бы нижайше позволить оным ее оставить.

– Что вы, государыня! – Санечка кинулась вновь к ногам императрицы. – Вы, Екатерина Алексеевна, не стары вовсе! Нам бы всем ваш задор, да ваш огонь!

– Ох, Саня! Задору-то все менее остается. Слышала ведь, события-то наши каковы. Сначала князь Орлов, потом вот генерал Ланской. Беда все ближе. Оправиться все труднее. Одна отрада Александр да Константин.

– И все же, ваше императорское величество, горевать вам не пристало. Ваши глаза так чисты, ваши локоны так пышны. Я знаю, – тут она украдкой взглянула на дядю, что исподволь рассматривал их, сидя насупротив, – есть один кавалер, что ночей не спит, мечтая вернуть ваше расположение.

Глаза Екатерины не выразили ни недоумения, ни особого интереса. Зато Потемкин с удивлением посмотрел на племянницу.

– Когда это ты, стрекоза, успела что-то разузнать? Ты ведь и в Петербурге-то всего ничего. С кем сплетничала, признавайся?

– Я дяденька, привычки к сплетням не имею, а говорю лишь о том, что вот что видела и слышала сама.

Тут Александра Васильевна поведала о недавнем разговоре между братом и сестрой Полетаевыми, участницей которого она невольно стала. Покуда она говорила, Потемкин озадаченно смотрел то на нее, то не Екатерину Алексеевну.

Что же до государыни, то она, кажется, нисколько не разгневалась, несмотря на дерзость Погожева, о коем никак нельзя было не упомянуть. И более того, желание Алексея Васильевича вернуть расположение ее величества, императрица приняла благосклонно. Весьма благосклонно.

Потемкин хмурился, подозревая, что за снисходительной улыбкой государыни непременно кроется тайное желание. Какое? Возвратить графа и поселить его в апартаментах фаворитов, давно уже свободных? Нет, Ваше императорское, планы теперь другие.

– А причем здесь девица эта, княжна Полетаева? – нетерпеливо перебил он весело щебечущую Санечку. – Отчего она была с графом Погожевым?

Обе дамы замолчали и вопросительно посмотрели на него.

– Я хочу сказать, – уточнил Светлейший, – не была ли эта встреча тайным свиданием, представленным брату в ином свете.

Глаза Браницкой жадно заблестели. Глаза Екатерины потухли. От Потемкина не укрылось и это. Впрочем, Екатерина холодно заметила:

– Хочу напомнить тебе, Григорий Александрович, что не прошло и полугода, как граф женился по страстной любви.

– Да какая ж любовь? – всплеснула рукой графиня Браницкая. – Мне сестра Татьяна еще осенью писала про их странную свадьбу. Якобы весь Петербург гудел о том, что

Погожев с графиней своей тотчас после свадьбы разъехался.

— Должно чего-нибудь не поделил с молодой женой, — холодно сказала Екатерина.

— Ох-ох-ох! — захохотал Светлейший, — Да ведь известно, на какие уловки идут иные барышни, чтобы составить хорошую партию! Поймали молодца в силки. Я ведь сам слышал, как Марья Саввишна твоя похвалялась, мол, если уж она задумала сладить свадьбу, то никто от нее не уйдет.

Государыня переменилась в лице. Но ненадолго, всего на какой-то краткий миг. Потом прошла по своему кабинету, подошла к окну, раздвинула штору и, словно убедившись, что на дворе уж тьма непроглядная, снова отошла, села в свое кресло и искала глазами книгу.

Светлейший следил за ней своим хищным глазом. Видел, что она раздражена. Однако, как понять, о чем Екатерина теперича сожалеет? Должно быть, Погожев ей нравился, и весьма. Этот вполне мог бы заменить Ланского. Но Ланской был тише и куда более покладист, а этот сам себе голова. И тем опасен.

И еще Светлейший припомнил, что это именно Сегюр убедил Екатерину вернуть Погожева ко двору. Не был ли граф Погожев тем самым кандидатом французов? Два и два слишком легко складывались в четыре, но как-то уж слишком легко.

Екатерина молча смотрела на книгу, которую нашла взором, но в присутствии посторонних не желала открывать.

Светлейший пытался прочесть мысли императрицы. В кабинете повисла неприятная мрачноватая тишина. Напряжение разрядила Санечка.

– Если угодно вашему величеству, – начала она медленно, попутно обдумывая мысль, которая еще не совсем устоялась, – мы можем легко выяснить, сколь далеко зашла сия опасная связь между графом и Варварой Полетаевой. Ведь он, кажется, отважился сделать подношение вашему императорскому величеству, хотя и сам еще не ведает, чем сможет удивить вас. Так вот, я приглашу княжну к себе и как-нибудь заведу разговор о том, что государыне весьма по нраву что-нибудь из моих украшений. Вот мы и посмотрим, как быстро об этом узнает граф. Ведь коли узнает, то подарком тебе, государыня станет непременно такая же вещица.

– Ай да Саня! – потирал руки Потемкин, – Ну, что ж, порадей для своей благодетельницы. Вот и посмотрим. Что скажешь, государыня?

– Скажу, что для меня это особенно большого значения не имеет, – со всем возможным равнодушием отвечала Екатерина, – но ежели вам угодно опыты ставить, то ставьте себе на здоровье. Вольно вам развлекаться, да делайте так, чтобы не пострадал никто, и никто не был бы в обиде. Ни единая душа.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Страдания Орфея

Глава первая. Капризы Полигимнии

Весьма ободренный известиями Сегюра, а также тем, что театр доехал почти в полной сохранности (пропал лишь один сундук с реквизитом, поломалась пара-тройка бутафорских мечей, да несколько актеров постарше слегли в лихорадке, подхватив по дороге простуду), граф совсем повеселел. Лихорадка сколько-нибудь серьезных опасений не внушала, но к больным был вызван доктор, а старая графская няня отпавала их своими настояями, которые, как уверяла она, помогут несравненно лучше всех немецких лекарств.

Произведя ревизию костюмов, театральная швея Анфиса Неволина – мать балерины Малаши, пришла к выводу, что пропал совсем незначущий хлам, который она собиралась пустить в переделку и на штопку. До сих мелочей граф не опускался и даже не дослушал отчет Анфисы Терентьевны до конца. Ему уже не терпелось поскорее заняться делом –

обдумывать мизансцены, придумывать декорации, расставлять реквизит и раздавать распоряжения актерам.

О сладостный запах театра! О сладчайшие звуки музыки! О, Мельпомена и Терпсихора! Неужели вы снова царите в сем скромном жилище!

Первый день граф ходил как шальной. Руководил, повелевал, размещал, увещевал. На утро следующего объявил репетицию «Несчастья от кареты». Это для разбегу, пояснил он капельмейстеру. И тот, послушно кивнув, чихнул в сторону, ибо был в числе простуженных.

Посоветовавшись с Сегюром, граф решил, что представление начнется уже от входа в дом. Въезд императрицы будет обставлен торжественно, и графский подарок она получит вовсе не как его подношение, а как дар Небес, преподнесенный самим Зевесом. Для сего он велел пристроить на галерее, что над сенями некое подобие полатей, или верхнюю сцену, как называл это сооружение граф, где и будет царствовать Зевес, ниспосылающий Амура к ногам императрицы.

Амуром, слетающим на лонжах с верхней сцены, предстояло стать Маланье Невוליной, которая еще совсем недавно дебютировала в роли Ангела, принесшего благую весть самой Богородице. Девушка была так легка, что удержать ее на лонжах не составляло труда. Трудность была лишь в том, чтобы придать Амуру, пикирующему вниз, некое подобие летящей птицы.

Для того лонжи было решено прикрепить к талии, а также

к ножкам балерины. Этому воспротивился было меcье Робер Паскаль, но постигнув, что спорить с графом, погруженным в свои идеи, бесполезно, отстранился и принялся шлифовать искусство балетной труппы, хотя временами еще сокрушался из-за отсутствия Малаши, которая делала все балетные па во сто крат лучше остальных. Она единственная, кому можно было без колебаний доверить первые партии в любом балете, но увы...

Пока строили верхние подмостки, сам устроитель праздника трудился над стихами, именуемыми им же, одой. Фридриху Штальбауму было велено положить сию оду на музыку и выучить с хором. Ода должна стать приветственной песней, встречающей государыню. И в то же время тому отрывку, что более всего брал за сердце, предстояло быть увековеченным на камне, что составит основание табакерки, которую граф был намерен преподнести своей повелительнице. Ювелир Функ уже подготовил подходящий кусок малахита и ежедневно торопил графа, опасаясь не успеть к назначенному часу.

Моля Небеса о том, чтобы музы вдохновения ниспослали ему свои дары, граф приступил к сочинительству. И первая часть действительно легко далась ему. Надобно сказать, что для стенок табакерки Функом, при участии Федота Проскурина, были выбраны красивейшие кварцы-волосатики, которые почитались астрологами камнями тельцов, а императрица, согласно данным новомодной науки астрологии,

родилась как раз под созвездием тельца, и использование волосатиков в предмете дарения можно было счесть символическим.

Граф не возражал. Названия кварцев – Волосы Венеры и Стрелы Амура – как нельзя больше соответствовали замыслу и навевали поэтические грезы. Он легко зарифмовал эти названия в строфы своего произведения и оказался вполне доволен. Первоначальные куплеты звучали так:

Стрелою Амура пронзен молодец.
Амур – он Венеры послушный гонец.
Лукав и прелестен, резвится Эрос –
Наследник богини златых он волос.

Амур и Венера венчают союз
Сердец вспламененных и жаждущих уст.
О, счастье велико изведать любовь
Прекрасной Венеры – царицы богов.

И именно этим строкам, по мнению графа, следовало остаться в вечности, будучи выгравированными на камне. Однако для оды произведение было слишком мало, и граф без особого напряжения сочинил дальше:

Пронзенный стрелою Амура молодец
Тоскует и ищет счастливый венец.

О, силы небесны, зачем же мне жить?
Объятья Венеры нельзя возвратить.

Но молодца муки узрел сам Зевес –
Он сфер повелитель, богам всем отец.
Златую Венеру любя пожурил
И в память о страсти ларец подарил.

При этих словах как раз на полатах и должно произойти некое действие, сопровождаемое блеском молнии и раскатом грома, после которого на землю к ногам повелительницы-Венеры будет отравлен шаловливый Амур на лонжах. В руках Амура императрица обнаружит ларец, который и будет ей вручен, а хор последним куплетом подскажет ей, что оный полагается открыть, чтобы узреть Зевесов подарок.

Граф задумался. Строфа пришла сама собой: «А в ларчике этом хранится секрет, – мурлыкал граф, размахивая пером и не замечая, как капли чернил летят на дорогой ковер и бархатный камзол, – а в ларчике этом та-та та-та-та...». Дальше дело шло туго, хотя вот: «Напомнит он нежные страсти обет...». Впрочем, граф сомневался – напоминать ее величеству какие-то там обеты недозволительно, тем паче, что их вовсе не существовало. Но уж больно хорошо получилось: «А в ларчике этом хранится секрет – напомнит он нежные страсти обет». Пожалуй, можно оставить, ведь речь идет о языческой богине и каком-то постороннем молодце, никому

и в голову не придет сопоставлять Венеру и саму государыню Екатерину. Нет, решительно хорошо. Над концовкой он еще поработает, а вот начало следовало, не мешкая, передать Штальбауму, дабы положил на музыку.

На копирование и заучивание слов оды хористами ушел почти день, а когда он миновал, то выяснилось, что верхние подмости уже готовы, и вполне можно начинать первый прогон действия. Штальбаум, покопавшись в нотах, нашел нечто подходящее к графским строкам. Погожев сам напел ему: «Та-та та-та-та-а-та та-а-та-а-та-та-та» и капельмейстер, ерзая и краснея, подстроил под графское творение кое-что из творений Моцарта.

И вот хористы с бумажками в руках выстроены полукругом. Оркестранты сосредоточенно смотрят в ноты. Штальбаум взмахнул палочкой. Хор и оркестр вступили одновременно, отчего вся сцена сразу как-то скомкалась. Зевс и прочие небожители, стоя на верхних подмостках, не знали, чем себя занять и только когда пришла пора спустить вниз трепещущего от страха Амура, оживились и задвигались.

Амура они почти силой скинули вниз, и девушка, еле живая от страха, сразу же выронила из рук шляпную коробку, призванную изображать ларец Зевеса. Алексей Васильевич сделался мрачен.

Все было вяло, актеры напоминали марионеток, и текст не вязался с действием. Получалось, что Амур слетает с верхних подмостков под куплет, в котором поется о том, что Зевс Ве-

неру пожурил и подарил ларец, а на самом деле Зевс журит Венеру именно в тот момент, когда хор поет о тоске юноши, утратившем любовь прекрасной богини. Сие никак не сочелось. Нужно было что-то делать. Прежде отправили наверх Амура и велели всем небожителям как-то оживить действие, изобразив хоть какие-нибудь сцены из жизни.

Оду повторили, но теперь получалось так, что Амур слетал к ногам императрицы уже под тот несуществующий куплет, который еще предстояло дописать, но куплет этот предполагалось написать о том, что в ларчике что-то лежит, а не о том, что ларчик Зевсом Венере подарен. Под те строфы, где говорится, что Зевс Венере ларец подарил, Громовержец вручал ларец как раз Амуру. Нет. Это вовсе не годилось.

Граф сызнова отправил Малашу наверх, а сам нервно заходил взад-вперед. Теперь он решительно был разочарован во всем. Первые два куплета вообще не были обставлены никаким действием и, как бы актеры не пытались изобразить величественные жесты, присущие богам, населяющим Олимп, общее действо это вовсе не украшало, а, как раз напротив, придавало ему вид глупейшего фарса.

Вот тут он и возблагодарил небо, что есть в его труппе Робер Паскаль, который, узрев муки мецената, тотчас предложил оживить встречу императрицы маленьким балетным представлением. Граф, сразу оценивший идею, чуть было не расцеловал Паскаля. Немедленно воспрял и потребовал прогнать все действо сначала, хоть пока и без балета. Теперь хор

должен был вступить позже на несколько тактов, дав возможность балету оттанцевать сюжет, изложенный в стихах.

Решено было, что небожителям уместно выходить на верхние подмостки только к тому времени, когда хористы начинали петь третий куплет. И вроде бы все как раз сложилось, но Амур по-прежнему слетал с верхних подмостков не тогда, когда этого требовалось.

На этот раз графу на помощь пришел Штальбаум, который предложил сделать некую паузу как раз в том месте, когда Зевс журит Венеру. Граф и это воспринял с удовольствием и даже придумал, что Зевс блеснет в воздухе бутафорской молнией, а в соседней зале будет установлена машина грома, которая издаст небольшой раскат для придания достоверности действиям Громовержца.

Чтобы удостовериться, что идея его действительно удачна и раскат из соседней комнаты будет достаточно хорошо слышен, Погожев потребовал установить машину немедленно. А поскольку это требовало времени, в репетиции был объявлен перерыв, закончившийся куда быстрее, чем хотелось бы Малаше Невוליной, которая бледностью могла бы теперь сравниться уже только с белеными потолками.

Глядя на нее, Анфиса Терентьевна лила горькие слезы, а Федот Проскурин, которому до Погожева было дело, задержался в сенях, и на лице его, обычно бесстрастном, явилось такое решительное и недовольное выражение, что пристало бы самому Пугачеву.

Однако Алексей Васильевич совершенно ничего не хотел замечать. Он казался болен своей идеей и никакие преграды не смогли бы его остановить. Как только машину установили, был объявлен новый прогон.

Заиграла музыка, хор вступил как раз там, где нужно. К третьему куплету на верхних подмостках показались Зевс, его супруга Гера, Амур и другие жители Олимпа. Зевс в нужное время потряс золотыми молниями и управляющий машиной грома, установленной в соседней зале, не пропустил момент для извлечения громовых раскатов. Хор тактично приостановил свое повествование о муках молодца как раз в этом месте.

Именно в этот момент Амур, получив ларец, медленно начал спуск на лонжах. Хор озвучил полет соответствующей строфой оды. Можно было бы посчитать, что все прошло не плохо, если бы с ноги Малаши не соскочила веревка, по каковой причине балерина довольно неловко приземлилась. Правда, на сие граф великодушно махнул рукой, решив, что в другой раз получится лучше. Несомненно, первая часть сладилась.

Теперь следовало словесами оды обратить внимание государыни на ларец. Да оных пока еще не было. К тому же Амур, с трудом удерживавший ларец в дрожащих руках, был так бледен, что походил скорее на привидение. Алексей Васильевич велел привести актрису в чувства, а сам удалился в кабинет для поэтических трудов.

Он ходил по кабинету, меряя его шагами то по периметру, то по диагонали, и без конца твердил то вслух, то про себя первые две строфы заключительного куплета. Дальше надо было бы что-нибудь про вечную любовь и неугасающую страсть, но, поскольку таковых в сердце не было, то и нечему было вылиться на бумагу.

Погожев хмурился и раздражался. Для чего, однако ж, все это затеяно? Ответ, пожалуй, один: чтобы императрица уверилась в его искренних чувствах... Да вот искренние ли они? Погожев сам себе теперь уж не мог дать ответа. Куда уж тут оды писать! Впрочем вот: «Узнает Венера вечерней порой... что молодец верен всегда ей одной». Хм, вечерней... Почему вечерней? «Узнает Венера весенней порой, что молодец...».

Посчитав сей вариант сносным, граф выбежал в сени и заставил хористов заучить текст с голоса. Две простеньких строфы улеглись в головах людей без особого труда. Погожев потребовал новый прогон, но теперь уже с положенной концовкой. Изображать императрицу, принимающую дар Зевеса, должен был сам граф. В этой роли он как никто другой сможет увидеть действие со стороны и оценить все его прелющества и огрехи.

Благодаря небольшому перерыву Малаша несколько собралась с духом и этот дубль отыграла с блеском. Спускаться она уже почти не боялась, а шляпную коробку научилась держать так, что та не вываливалась у нее из рук. Да вот только граф остался недоволен своим произведением. Все-таки

концовка нехороша.

Варенька! Фрейлина Полетаева, несомненно, будет сопровождать Ее величество. И из того, что она услышит, наверняка сделает вывод, что граф добивается внимания императрицы. Это после того-то, как она положила медальон в Ящик Амура прямо у него на глазах! Нет, ни в коем разе не следует оставлять концовку такой, как теперь. Граф не велел актерам расходиться, а сам сызнова отправился в кабинет.

Вот уж который раз он перемеряет пространство шагами, а все каждый раз разное количество оных получается. Тьфу! Да о чем это он думает? Ода! Ода горит. Надо вернуться с небес на землю, хотя скорее, наоборот, с земли на небеса. Так что там с Венерой?

"Напомнит обет" - весьма недурно, да напоминать нечего. Но... Не может быть, чтоб совсем ничего не осталось у государыни в сердце. Не такова она, эта богиня. О! Что-то есть. Сердце! Он сердце богини вернет молодцу и... и... и дела прибавит Венеры гонцу». ОНО!

Граф попрыгал в такт своим строфам и, коли не боялся бы потерять лица перед крепостными, так и прыгал бы по лесенке, распевая.

Он сердце богини вернет молодцу
И дела прибавит Венеры гонцу.

Но так все-таки было нельзя, и он вышел к народу сосредоточенный и сдержанный. Хористы вновь с голоса заучили последний куплет графского творения, но при воспроиз-

ведении не сбились только благодаря тому, что единственный, кому достался лист бумаги с новым текстом куплета, вовремя и очень громко, хотя и несколько фальшиво заголо-сил «Он сердце богини...», перекрывая зазубренное хором «Узнает Венера весенней порой...».

Граф отметил старания хориста, но мысль, которая посе-тила его, когда он вдумался в сию строфу, поразила не хуже, чем стрела Амура сердца внезапно влюбленных. Потемкин! Даже если представить, что он не пожелает быть на празд-нестве вместе с Екатериной, все одно ему донесут про «де-ло, которое будет добавлено Венеры гонцу!» Так открыто и бесшабашно заявить о своих намерениях почти мужу, а мо-жет быть и мужу, вдруг разговоры не беспочвенны.... Ой-ой. Граф нахмурился и направился в кабинет для встреч с поэтической музой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.